

ВРЕМЯ ШМБТ 4 1976

СРЕДИ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ,
В МИРЕ, ГДЕ ГРУБАЯ СИЛА И ЛОЖЬ
СТАНОВЯТСЯ НОРМОЙ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ,
МЫ ИСПОЛНЕННЫ ОДНОЙ ЛИШЬ ЦЕЛЬЮ —
ПОМОЧЬ ЧИТАТЕЛЮ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВРЕМЕНИ И В СЕБЕ



Мартин Бубер
"Национальные боги
и Бог Израиля"



Фаина Баазова
"Прокаженные"



Д-р Зеев Кац
"Завтрашний день
человечества"

ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ.

№ 4 февраль 1976

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Илья Суслов

"Прошлогодний снег".....3

ПОЭЗИЯ

Нина Воронель

Стихи.....75

Давид Авидан

"Молитва от сердца к сердцу" 80

Далия Равикович

"Гордость" 81

Стихи из России 83

ПУБЛИЦИСТИКА

Д-р Зеев Каи

"Завтрашний день человечества".....88

Письмо из Москвы

"Злодельное масонство среди
пресного бытия" 103

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ

Натан Файнгольд

"Мартин Бубер и его наследие".....109

Мартин Бубер

"Национальные боги и Бог
Израиля" 114

КРИТИКА

Марк Перах

"Факты или селекция образов?"..... 131

От редакции

"Национальные комплексы или широта горизонта"..... 159

В МИРЕ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

"Вкус и стремление к истине"

(*"Новый журнал"*, № 119, Нью-Йорк, 1975г.) 161

"День сегодняшней"

(*"Грани"*, № 97, Франкфурт-на-Майне, 1975 г.) 164

ИЗ ПРОШЛОГО

Фаина Баазова

"Прокаженные"..... 168

Коротко об авторах 218

DIGEST OF FOURTH ISSUE

OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")..... 220

Главный редактор

Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Владимир Абрамсон

Михаил Калик

Фаина Баазова

Вадим Меникер

Георгий Бен

Борис Орлов (*зам. гл. редактора*)

Лия Владимировна

Наталия Рубинштейн

Егошуа А. Гильбоа

Йосеф Текоа

Илья Гольденфельд

Аарон Ярив

Михаил Занд

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

©

Все права на литературные произведения, опубликованные в журнале "Время и мы", принадлежат их авторам.

ПРОЗА

Илья СУСЛОВ



Окончание. Начало смотрите в третьем номере.

17

В Сокольниках — тьма народу. В Сокольниках — выставка. Одна большая страна демонстрирует свои успехи в промышленности, сельском хозяйстве и культуре. В Москве ажиотаж. Такой выставки еще не было...

Мы бродили по аллеям Сокольников уже пятый день. Пять дней назад секретарь парткома вызвал нас с Витькой Шикуновым и другими ребятами издательства и сказал:

— Вы пойдете на пять дней в Сокольники. Вы будете ходить по павильонам. Устроители этой выставки думают, что в нашей стране живут простаки, и они поддадутся на их паршивые тряпки и лимузины. Вы должны доказать, что это не так. Например: какое у нас здравоохранение?

— Бесплатное! — сказал я.

— Верно, товарищ Шифрин. А у них?

— А у них — платное, — сказал я.

— Видите, какой аргумент у нас в руках? Идите, товарищи, и высоко несите нашу марку. Мы не хуже их, а лучше.

Итак, я был специалист по здравоохранению.

Я сидел в последнем ряду "Клуба вопросов и ответов". Девушка, хорошо говорившая по-русски, отвечала на вопросы посетителей. Вопросы были одинаковые. А сколько получает, скажем, рабочий? А сколько стоит пара туфель? А почему у вас автомобиль? Девушка терпеливо разъясняла. Иногда я вставал и спрашивал:

— Скажите, а какое у вас здравоохранение — платное или бесплатное?

— Платное, — говорила девушка.

— Вот видите, — торжествующе говорил я и победно оглядывал зал. Потом я садился.

Девушка подробно рассказывала, сколько стоит прием к врачу, банки, уколы, лекарства. Я понимающе кивал головой. Когда я десятый раз поднял руку, чтобы спросить, какое у них здравоохранение — платное или бесплатное, девушка, тонко улыбнувшись, сказала:

— Вы, вероятно, хотите спросить, какое у нас здравоохранение — платное или бесплатное? Я в десятый раз с удовольствием вам объясню...

Я был посрамлен.

Тогда меня переключили на павильон женской одежды и трикотажа. Наши женщины, увидев заморское белье, закатывали глаза, охали, понимающе переглядывались и многозначительно кивали головами.

— Подумаешь, — говорил я, — выставились, как будто не видели белье... Белье, как белье!

Женщины поджимали губы и с презрением отворачивались от меня. Одна из них прошептала:

— Боже, какое белье!

Я был начеку:

— Ну какое, какое белье? Обычное белье. Что у нас хуже, что ли?

—... Хуже, — чуть не плача вскричала она — На, на, посмотри! — Она задрала подол платья.

Посетители просто упали от смеха.

Я стоял красный и чувствовал свое ничтожество.

— Ну, как аргумент? — спросил Витька Шикинов, проходя мимо. Я плюнул на парфюмерию и пошел просто гулять по аллеям.

Для этого у меня тоже были причины: я назначил свидание девушке Тане. Мы бродили с ней по хрупкому золоту сокольнической листвы и смеялись над моими похождениями на выставке.

(Примечание автора.

Читатель не должен ошибиться на этот счет. Девушка Таня, с которой Толя Шифрин встретился в Сокольниках, — совсем не та девушка, о которой он писал раньше. Это совсем другая девушка. Автору не удалось выяснить, где и при каких обстоятельствах Толя с ней познакомился. Вообще, эта сторона жизни Толи Шифрина не совсем прояснена. Автор объясняет это скрытностью Толи и в какой-то степени его тактичностью. Современная молодежь, знаете ли...)

Вдруг от дерева отделился дюжий парень в белых кедах и пошел прямо на Таню. Он был пьян, как сукин сын, и здоров как бык.

Он схватил Таню за руку и недвусмысленно потащил за собой в глубину аллеи. На меня ему было трижды наплевать. Бедная Таня вырвалась и закричала:

— Как вы смеете, негодяй?!

Парень ласково замычал и стал повторять маневр. Настала моя очередь. Я оттолкнул его от Тани и дал ему под дых. Никакого впечатления. Я развернулся и, наверное, дал бы ему по шее, если бы не промахнулся. Он схватил меня за галстук и заревел:

— Убью, гад!

Я понял, что, если он меня ударит, я больше никогда не встану.

Я: Ты что пристал?

Он: Убью, гад! .

Я: Отвести тебя в милицию, хулиган?

(Черта с два я его отведу, это он меня отведет, куда захочет, это же не руки, а тиски.)

Он: Я тебя сейчас кончать буду!

Я: Проваливай, чтоб я тебя больше никогда не видел! Я из тебя котлету сделаю!

(Как быть? Схватить Таньку и убежать? Но ведь она будет презирать меня до конца дней. Какой же я мужчина!)

Собирается толпа. Я краем глаза вижу возмущенного пенсионера, лоточницу с пирожками, мальчишку лет пятнадцати... Все оживленно обсуждают инцидент.

— Товарищ, — как можно достойнее произношу я, обращаясь к пенсионеру. — Будьте любезны, пригласите, пожалуйста, милиционера.

Парень навалился на меня, как вагон. Я и пальцем не могу пошевелить. Появляется милиция.

— Брэк! — говорит мильтон, и нас разводят в стороны.

Я ощупываю себя: как будто ничего не сломано.

— Таня, — говорю я весело (так мне хотелось бы), — отойди в сторонку. Сейчас я дам этому налетчику пять или семь лет, и мы продолжим прогулку.

— Документы! — строго говорит милиционер.

Толпа оживляется.

— Ужас какой! — охает лоточница. — Людям по парку пройтись нельзя. Хулиганье всюду...

Я сам видел, — быстро-быстро говорит мальчишка, — этот идет, а эта тоже, а этот подходит, раз! — и это...

— Я член партии с тысяча шестьсот... года, — говорит пенсионер, — я посвятил остаток своей жизни борьбе с нарушителями. Я видел, как этот хулиган...

Парень мутно посмотрел на меня и сказал:

— Вы его возьмите, он ко мне в карман залез.

— Ах, так! — рассердился я. — Вяжите его, товарищи начальники, слышите этого провокатора, куда он повел?

Милиционеры взяли парня в белых кедах под белые

руки и поволокли в милицию. Мы шли рядом. Очевидно, парню было больно идти с вывернутыми назад руками, он ругался и орал.

Когда мы подошли к дверям милиции, парень при молк и вдруг, набрав полный рот слюны, плюнул в лицо одному из милиционеров. Мы ахнули.

— Что же ты сделал, дурак? — сказал я. — Ты уж совсем озверел!

Милиционер утер лицо, тяжело посмотрел на парня и коротко сказал:

— Не прощу.

Мы рассказали дежурному существо конфликта. Дежурный все записал. Он записал и пенсионера, члена партии с семнадцатого века, который..., и лоточницу, прервавшую торговлю во имя торжества справедливости, и быстрого мальчика, который рассказал, как... этот идет, а эта тоже, а тут этот выходит...

...Через несколько месяцев я получил повестку в суд. Судили парня в белых кедах.

"Не ходи один, — говорили знакомые. — Вдруг их целая шайка. Его посадят, а другие тебе отомстят". Я взял Витьку Шикинова, и мы пошли в суд.

В зале ожидания ко мне подошла старая, седая, скромно одетая женщина.

— Что же ты с Васькой моим сделал? — заплакав, сказала она. — Посадят теперь Ваську-то. А ведь это кормилец мой. Единственный мой.

Она горько плакала. Какие-то женщины, обняв, увели ее в угол, и она там, сбиваясь и плача, рассказывала, какой хороший был Васька, непьющий и скромный, как он خوبی не обидит, а тут горе-то какое, ведь это первая его получка... И разряд ему дали... О Господи! И что же вино-то делает... И не виноватый он, Васька-то...

И женщины сочувственно охали, а я чувствовал себя последним подлецом.

Я ставил свою маму на место этой старой женщины

и понимал, какой ужас охватил Ваську, когда он протрезвел.

На суде я юлил и выгораживал этого Ваську, но ему все равно дали срок. Не надо было ему плевать в милиционера.

Васька тупо повторял:

— Водки я выпил... Выпил я...

Когда его увозили, остриженного и растерянного, он сказал:

— Маменька, прости меня, маменька. Я думал веселее будет, а вон как вышло. Со скуки я... прости, маменька...

У меня в горле стоял комок. Я думал, почему же так скучно? Скучно... Скучно...

18

Я очень любил пограничников. Пограничники смотрели на нас со всех плакатов. Они были одеты в защитную гимнастерку с зелеными петлицами, на них были зеленые фуражки, за спиной — винтовка, в руке — наган, вторая рука прикрывает глаза от палящих лучей солнца, а глаза зорко всматриваются вдаль — где враг? Рядом с пограничником лежит его верный друг — немецкая овчарка с умными глазами и высунутым языком. Будьте уверены, товарищи, враг не пройдет! Наша граница — в надежных руках, она на замке!

В кинотеатрах шли фильмы про шпионов. Эти коварные гады (их всегда играли артисты Файт и Кулаков) переползали границы, чтобы взрывать наши города и села, убивать замечательных ученых, которые всегда были старые и рассеянные. Эти глупые ученые уносили свои секретные изобретения домой или на дачу, и уж тут шпионы воровали или фотографировали их чертежи. И мы, мальчишки, с замиранием сердца ждали, когда, когда же наконец появится красивый и сильный пограничник и разоблачит врага? И он появлялся в самый нужный момент. Он бил по морде шпиона и

связывал его. А в саду уже стоял чекистский ЗИС, который отвозил разоблаченного врага на Лубянку.

Но больше всех я полюбил пограничника Маремуху. Он со своей верной собакой Индусом охранял один из участков южной границы. И, можете себе представить, пограничник Маремуха и Индус задержали более четырехсот нарушителей границы! Я читал об этом в книгах, я слушал об этом по радио. Мне нравился смелый Маремуха. Я твердо знал, что он никогда не пропустит фашиста на нашу землю. Пусть только сунутся! Если пограничник Маремуха только один, нет, вдвоем со своим верным Индусом, обезвредил четыреста шпионов и диверсантов, то его товарищи по заставе тоже не лыком шиты! Они, наверное, задержали, ну пусть не четыреста, но двести врагов они задержали! А сколько таких пограничников на всех границах нашей великой страны! Так что, фашисты и самураи, тряситесь от страха в своем логове, не видать вам ни пяди нашей земли, и все ваши коварные планы обречены на полный провал. И в кино показывали документальные кадры: вот нарушитель границы в телогрейке пробирается сквозь густой кустарник. Чу! Чуть слышно хрустнула веточка. Это замаскированный Маремуха увидел врага. Но враг не подозревает этого. Маремуха берет телефонную трубку, замаскированную в дупле. Тревожный звонок будит заставу. В ружье! Враг нарушил границу! И вот уже скачут пограничники по ущельям и лесам. Они смотрят в бинокли. А враг все ближе и ближе. Вернее все дальше и дальше от границы. И Маремуха принимает решение. Он посылает по следу врага своего верного друга Индуса. Индус бежит по следу. Пограничники скачут на конях. Маремуха по-пластунски ползет за Индусом. Враг с револьвером в руке пробирается сквозь чащу. Зверская рожа! Наверное, хочет взорвать мост через Волгу. Или через Москву-реку. Он думает, что ему это удастся. Дурак какой-то. Но вот Индус настиг нарушителя. Он вцепился ему прямо в руку, в которой зажат револь-

вер. Гремит выстрел, второй, третий! Мимо! Фу-у! Вот наконец и Маремуха!

— Руки вверх!

И шпион, злобно оскалившись, нехотя бросает револьвер в снег (в траву?) и поднимает руки. Подоспевшие пограничники окружают и связывают нарушителя. Отлично!

... И лишь война стерла из памяти подвиги Маремухи и его боевых друзей.

Ушли годы. Мне никогда не случилось встречать в печати имя пограничника Маремухи. Как сложилась его судьба?

Двадцать лет спустя, когда я работал в редакции, вдруг открылась дверь, и вошел Индус. Да-да-да, Индус! Я сразу узнал его. Этот умный взгляд. Эти могучие лапы. Этот высунутый язык... На Индусе был надет широкий кожаный ошейник, сплошь увешанный золотыми и серебряными медалями и жетонами. Чемпион среди Индусов.

Собаку держал на поводке молодой стройный пограничник. Защитная гимнастерка, зеленые погоны, зеленая фуражка. Хромовые сапожки поскрипывали на ходу, в золотых пуговицах отражалось солнце. Красавец!

— Здравствуйте, пограничник Маремуха со своим верным другом Индусом! — сказал я, раскрывая объятия.— Добро пожаловать!

— Я не Маремуха, — строго сказал пограничник, — я Демушкин. Полковник Маремуха сейчас следует сюда на интервью с журналистами после вручения ему в Кремле золотой медали Героя Советского Союза.

И, действительно, вошел полковник Маремуха. У него было суровое, в глубоких морщинах лицо. Он был немного растерян.

Мы приняли его в кабинете главного редактора, который напомнил всем о боевых довоенных буднях славного пограничника.

— А это, — сказал главный редактор, показывая пальцем на собаку, лежащую на полу, и на юного погранич-

ника, ее сопровождавшего, — это смена пограничника Маремухи. Конечно, Индус давно умер от старости, это другой пес. Как его зовут?..

— Буран!

— ...Буран, который с честью несет сегодня эстафету подвига. И сегодня наши доблестные пограничники охраняют рубежи нашей страны, и им помогают в этом их верные друзья, адресированные в поимке всех и всяческих нарушителей наших границ!

Редактор говорил долго и убедительно.

Я наклонился к Маремухе и прошептал ему на ухо:

— Пошли ко мне, у меня в запасе есть бутылочка хорошего коньяка.

Он сказал оживившись:

— Пошли!

И пока молодой Демушкин и его собака отвечали на вопросы журналистов, мы с Маремухой пошли в мою комнату и налили по стаканчику.

Я смотрел на его лицо, которое выражало какую-то терпеливую усталость, на натруженные морщинистые руки, на выцветшие голубые его глаза, на ордена и медали, прикрепленные к плохо сидевшему на нем кителю...

— Ах, пограничник Маремуха, — сказал я, — ведь вы были моим любимым героем.

Он сконфуженно улыбнулся.

— Но вот меня всю жизнь интересовал вопрос...Можно?

— Ну чего там, — сказал он, — давай.

— Понимаете, — сказал я и налил по новой, — понимаете... Вот сидите вы в засаде на границе... А тут враг... Вы его берете... Задерживаете, как говорится. А он, сукин сын, знает, что здесь сидит пограничник Маремуха. Ведь вы их четыреста штук поймали. Или более. Или чуть менее. Я не помню. Ну что ему, врагу, стоит обойти вас стороной. Может, там не такой ловкий пограничник сидит. Так нет же, он прямо к вам, дурачок, лезет, шпион проклятый, диверсант несчастный... Сволочь такая.

Он кисло улыбнулся, подумал и сказал:

— А что тебе не нравится?

— Да нет, мне все очень нравится, просто я хочу сообщить, неужели четыреста?..

— Ишь ты, какой сообразительный... Вот мы сейчас "соображаем" на двоих твою бутылочку коньяка.

— Ну а все-таки... Интересно.

— А ты прочти в газете, там все написано.

— Там, конечно, все написано... Неужели четыреста?

— Четыреста. Правда.

— А знаете, что сказал Марк Твен про правду?

— Что?

— Он сказал: "Правда — величайшая драгоценность. Надо ее экономить".

Он закурил, жадно затягиваясь, по-русски держа сигарету между большим и указательным пальцами огнемком вовнутрь, и проворчал:

— Слишком много ее сэкономили.

— Вот и я говорю...

Мы выпили.

Он с интересом посмотрел на меня и вдруг спросил:

— Не продашь?

— Ну что я, псих, что ли? Конечно, не продам. Чего продавать-то, — забормотал я, наливая по новой.

— А хрен с тобой, продавай, — сказал он, хрустнув пальцами. — Дело прошлое. Понимаешь, время-то какое было, тридцатые годы... Мы на южной границе служили. А тут и название придумали: нарушитель границы. Он нарушитель, понимаешь. Он хочет нарушить границу. А с какой стороны нарушить — это ведь все равно. Границу нарушать нельзя, понял?

Мы пили коньяк из граненых редакционных стаканов. За окном темнело. Мы смотрели в окно и думали.

Я думал: "Бог ты мой! Тридцатые годы. Лагерь, опутанный колючей проволокой. Сторожевые вышки со стрелками. Воюющие собаки. Заросшие, истощенные, грязные заключенные. Вот они сбились в кучу и о чем-то шепчутся, прикрываясь от ветра рукавами своих телогреек третьего срока годности. И вот они бегут. Они пе-

регрызают колючую проволоку и бегут. Сзади стреляют, лают собаки, ветер сбивает с ног, а они бегут. И они продираются сквозь тайгу, и подымают от голода, и прячутся от людей и дорог. На юг! Там граница, там надежда на спасение. И у них зверские лица изголодавшихся людей, и они жрут кору деревьев и снова умирают. Но некоторые, те, кто оказался сильнее или проворнее, подошли к границе. Там, за горизонтом, — свобода! Там...

А здесь, у границы стоит пограничник Маремуха со своим верным другом Индусом, натренированным хватать людей за горло и за правую руку. И от его страшной голодной пасти не спасет изодранная вшивая телогрейка.

И только у Маремухи таких — четыреста! А рядом — другой Маремуха, и у него тоже — четыреста! И у третьего — тоже! И у каждого! Потому что есть название — "нарушитель границы". А в какую сторону бежит "нарушитель" — это ведь все равно!"

Мы курили, и огоньки наших сигарет освещали его старое измученное лицо.

— А потом что было?

— А потом... Суп с котом! — сказал он. — Это я правду говорю: суп с котом. Думаешь, нас там иначе кормили?

— Значит, и вы там были?

— Был, значит. Все мы там были. Больно много знали... И ты, смотри, будешь много знать...

— А потом?

— А потом вспомнили про меня... В школу направили, собачек учить. Собачки видел какие? Что надо! А теперь, вроде... И полковник, и герой... Время-то идет... Наливай по последней.

Мы вернулись в кабинет главного редактора, который подводил итоги интервью.

— Таким образом, — говорил он, — награда всегда находит героя. В нашей жизни всегда есть место подвигу. И мы, сегодняшнее поколение советских людей, всегда

будем следовать по пути наших отцов, ярким представителем которых является полковник Маремуха.

— И его верный друг, собака Индус, — сказал я.

Собака подняла голову и посмотрела на меня долгим, внимательным взглядом.

Видели ли вы московские "забегаловки"? Это будки, изредка разбросанные по переулкам, на которых время от времени меняется вывеска "Пиво" на вывеску "Квас". Чаще всего в окошке будки висит табличка "Пива нет", и скукающая продавщица, толстая и грубая Катька или Маруся, разбогатевшая на пивной пене, которую она наливает в плохо вымытые поллитровые кружки ("недолив", как ласково называют эту нехитрую операцию старожилы и милиционеры), смачно ест бутерброд и грызается прохожим.

В конце дня рабочий люд становится в длиннющие очереди, чтобы побаловаться после работы кружечкой пивка из бочки. Очередь идет медленно, каждый берет две, а то и три кружки, и уж если у кого в кармане найдется кусок сушеной воблы, то этот парень здесь царь и Бог, потому что по пивному ритуалу нужно так разделить этот кусочек соленой рыбки, чтобы каждая косточка ее была обглодана, высосана, да еще ломтик отдан товарищу по очереди, а там, глядишь, беседа потекла, и анекдотик рассказан про Чапаева, и про бабу, законную одну бабенку, классную, что вчера на танцах в Останкино отличилась, всем выдала — будь здоров, какая баба, — и про правительство, у них самих небось хлопот полон рот...

Пивнушка эта — и клуб, и место отдыха, и буфет, где можно после работы выпить "особой" бутылочку на троих, а то, гляди, и на двоих. Наливаешь из внутреннего кармана пиджака (где заветная, в "Гастрономе" купленная вскладчину, в газетку завернутая, чтоб милиция не видела) в кружечку, пивком зальешь для цвету и — живи, как человек!

Столов у забегаловки, конечно, нет, поэтому приспособляются люди кто как — кто на мусорном ящике, застеленном газеткой, кто на кирпичиках, а кто и так просто, стоя кучками. И пьют себе пиво. Это специально так "в стоячку" придумано, чтоб не собирались да не трепались про что не положено. Чтоб выпил кружечку — и топай домой, к жене, детишкам, телевизору.

Но мужчины расходятся неохотно, а денег все равно маловато.

— Васька, дай рубль до полочки!

— Что ты, у самого нет.

— Да двадцатого отдам. У меня прогрессивка будет.

— Ну что я, жид, что ли? Говорю нет, значит, нет.

Я любил пивнушку на моей улице. То есть я любил смотреть, как пьет народ. Я и сам иногда вставал в очередь. Выпьешь кружечку, послушаешь, что кругом говорят, и ладно. Прикоснулся к жизни. А то уж больно узок круг, страшно далеки они от народа...

Этот пожилой дядька был давно мною примечен в очереди. Он все как-то неуверенно крутился, пропускал вперед стоявших позади, какой-то весь чистенький, заштопаный, но неуверенный какой-то. В общем, не из нашей очереди человек. Он встретился со мной глазами, что-то в нем дрогнуло, он сказал стоявшим позади:

— Простите, я на секунду отойду, я здесь стоял. Я сейчас...

Меня как-то покорило от этого его "простите". Ну не принято так. Ты же не в ресторане. Ты у Катьки пиво берешь, какое уж тут "простите". Нет, не наш человек.

Он подошел ко мне и сказал:

— Вы, случайно, не коллекционер?

— Да, вроде, нет. А что у вас?

— Видите ли, у меня немного не хватает денег, может быть, вы купите?

Он разжал ладонь, и я увидел медаль "За боевые заслуги". Я немного ошалел.

— Ну ладно, — сказал я, — чего это вы? Сколько вам не хватает?

— Да, пожалуй, копеек пятьдесят.

Я дал ему полтинник, и он побежал к своей очереди.

Потом мы очутились рядом и медленно пили свое пиво, и он вдруг, просто так, стал мне рассказывать и рассказывать. И его речь, московский интеллигентский такой говорок засел в моей памяти. И я сейчас постараюсь вам его передать, постараюсь даже сохранить интонацию, только чуть-чуть от себя, чуть-чуть, ну самую малость...

х х х

Станция была маленькая, запущенная. Она чернела в белом снегу обугленной головешкой и только белые полосы, перекрещивающие окна, придавали ей нелепо нарядный вид. "Господи, неужели и здесь бомбят...", — ужаснулся Владимир Николаевич, прижимая к себе потертый, совсем не военный чемоданчик с подарками: кусок мыла, сало, американский толстый шоколад и теплые носки из верблюжей шерсти.

Поезд, на котором приехал Владимир Николаевич, уже ушел. Собственно, он и не останавливался вовсе — просто снизил скорость, проводница в ватнике и в очках в железной оправе строго сказала: "Кажись, твоя..."; Владимир Николаевич тяжело спрыгнул в мягкий скрипящий снег, поезд пронзительно, по-заячьи свистнул, прибавил скорость и уехал куда-то дальше за Урал, в Новосибирск, что ли...

Владимир Николаевич продирался сквозь толпу женщин с мешками и плачущими детьми. Они были какие-то черные, запущенные, как эта уральская станция, и пахли каким-то особым кислым вокзальным запахом.

— Товарищ солдат, предъявите документы!

Владимир Николаевич полез во внутренний карман за увольнительной. Он привык к этому окрику. На всех станциях патрули проверяли документы у военных, приезжающих с запада.

— По каким делам? — строго спросил усталый и небритый капитан.

— По личным, — сказал Владимир Николаевич, — жене вот еду навестить. И дочку. Они у меня сюда эвакуированы...

— Можете следовать, — сказал капитан. — Не забудьте отметить в комендатуре. У вас осталось три дня.

— Слушаюсь, товарищ капитан.

На привокзальной площади находилось все городское руководство — на двухэтажном длинном доме были наляпаны вывески: райком, райисполком, милиция, почта, военкомат.

Владимир Николаевич подумал и пошел в военкомат.

— Чего тебе?

— Мне вот до деревни Малые Котлы...

— Это километров пятнадцать будет...

— Может, машина какая?..

— Эва, чего надумал, машина... Ты на почту сходи, они почту туда возят подводой. Попросись, может, довезет... А то — ноги в руки и шагом марш...

На почте тетка в тулупе грузила подводу.

— Уж, пожалуйста, гражданочка, очень вас прошу, — умоляюще говорил Владимир Николаевич. — Я ведь жену четыре года не видел. И дочке моей уже четыре годика. Понимаете?

— Я ж тебе объясняю, мил человек, не свезет нас двоих лошадь! Ты взгляни, в чем у ей душа-то? Кости да кожа. Вдвоем сядем — помрет лошадь. А она казенная. Мне из-за нее в трибунал итить.

— Гражданочка, дорогая, вы меня-то поймите, я шесть дней ехал. Ведь дело к ночи. Не могу же я так... Я вам мыло подарю. Новый кусок. Ей-Богу, новый...

Владимир Николаевич торопливо открыл свой чемоданчик, вынул кусок мыла и протянул его тетке в тулупе.

Тетка взяла мыло, взвесила его на ладони, огорченно посмотрела на лошадь.

— Ведь не лошадь, стерва. Определенно по дороге упадет... Чемоданчик твой отвезу... А ты рядом шагай. Рядом — оно веселее.

— Ну вот и спасибо, ну вот и хорошо, — бормотал Вла-

димир Николаевич, пристраивая чемоданчик на телегу.

— Гляди, не отставай, — сказала тетка и взмахнула кнутом, — но-о-о... Богом обиженная!..

Владимир Николаевич помахал руками, побил себя по бокам — холодно! — потер уши и зашагал следом за тощей коренастой лошадкой.

Сначала он пробовал петь про себя что-нибудь в такт ходьбе.

"Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля..."

Он знал, что слуха у него никакого нет, поэтому он не пел громко, а приспособил мелодию к шагу лошади. Выходило хорошо. Потом он представил первомайскую демонстрацию.

"Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля..."

Песня начиналась где-то у Сретенских ворот, все нарядные, в белых рубашках и широких отглаженных парусиновых брюках, шагают в колоннах, и Нина, вложив маленькую шершавую руку в его ладонь, идет рядом с ним. На ней длинное платье в цветах, к груди приколот красный бант.

"Кипучая, могучая,
Никем не победимая..."

Впереди ухает заводской духовой оркестр, и идти так легко и солнечно. И Нина рядом. Иногда она поворачивает голову и смотрит на него снизу вверх, а он, длинный и неуклюжий, стыдливо краснеет и отворачивается.

"Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ..."

— Да здравствует великий Сталин!

— Ура!!

— Слава великому Сталину!!

— Ура!!!

— Ура! — кричит он и машет бумажными розами, и Нина шуточно закрывает руками уши и испуганно смотрит на него снизу вверх. Вот так.

...Лошадка накатала шаг и уже не плетется, а рысцой трусит по снежной извилистой дороге.

Владимир Николаевич не отстает. Он тоже рысцой.

"Хорошо в степи скакать.
Вольным воздухом дышать..."

Смешные эти американцы. Союзнички... И песни у них смешные. Володька Лебешев занес их откуда-то в роту. Когда рядом нет замполита, все в строю поют любимую Володькину:

"Зашел я в чудный кабачок..."

И все орут: "...кабачок!"

"...Вино там стоит пятачок..."

И Владимир Николаевич тоже кричит: "...пятачок!" Володька Лебешев морщится от этого его крика, но замечаний не делает — он добрый малый. Наверное, будет артистом после войны.

— Ишь, побежала, проклятая, — ворчит тетка в тулупе. — Вот когда надо, она черт-те что вытворяет. Гитлер какой-то, а не лошадь, чтоб тебе провалиться.

Владимир Николаевич тоже накатал шаг. Ах, как удивится Нина! Он тихонечко войдет в избу. Тук-тук... "Кто там?" — "Простите, Поляковы Нина и Наташа здесь живут?"

Владимир Николаевич тихонько засмеялся, прикрыв рот рукой. Глупо, конечно, но очень приятно... А как он утер нос этому долговязому технологу, который ухаживал за Ниной...

Когда он пришел на завод после техникума, ему сразу понравилась эта девушка. Она была строгая и красивая. Владимир Николаевич сказал своему сменщику Витьке Морозову:

— Вот видишь ту девушку? Я бы на ней завтра женился.

Витька Морозов сказал:

— А видишь вон того долговязого технолога? Он тебе покажет такое "завтра", что ты до послезавтра не доживешь.

На следующий день Владимир Николаевич после смены побегал к проходной караулить девушку. Вот она идет. Сердце у Владимира Николаевича сжалось в комочек, в горле пересохло — ни вдохнуть, ни выдохнуть, — он подошел к девушке и чужим противным голосом сказал:

— А почему бы нам не пойти сегодня в кино? (Господи, как отвратительно, пошло-то как!)

Девушка внимательно посмотрела на красного Владимира Николаевича и сказала:

— А я принципиально против легких флиртов, товарищ мастер.

"Боже, какие флирты, почему легкие флирты? — пронеслось в голове Владимира Николаевича. — О чем она? Ведь я совсем по-другому. Как же так можно?" А вслух он сказал:

— Ну что ж, жаль... Я ведь так просто...

— Ну, тем более, — сказала девушка и пошла дальше.

"Болван, кретин, идиот", — ругал себя Владимир Николаевич. Все валилось у него из рук. Стоило Нине пройти случайно мимо, как он ошалело опускал руки и долго смотрел ей вслед. Работницы в цехе перешептывались и хихикали, а на душе Владимира Николаевича было тяжело и мутно. Он опускал глаза и, вздыхая, продолжал работу.

Однажды в клубе показывали новый фильм "Машенька". Владимир Николаевич вошел в зал и увидел Нину. Она сидела одна. Сеанс еще не начался. Владимир Николаевич, как слепой, пошел к Нине по ряду, наступая кому-

то на ноги, говоря: "Пардон, извините, пардон" (какой-то дурацкий "пардон"), и сел рядом с ней. Это было чужое место. По проходу уже шел какой-то толстяк. Владимир Николаевич собрал все силы и так жалобно посмотрел на толстяка, что тот удивился, перевел взгляд на Нину и выбрался из ряда. Всю картину Владимир Николаевич сидел не шелохнувшись. Он чувствовал рядом дыхание Нины. Временами он забывался — картина была замечательная, — но потом снова с какой-то радостью возвращался к мысли о том, что он сидит рядом с Ниной. Он даже засмеялся тихонько, и Нина строго посмотрела на него, а он, испугавшись, что она рассердится, зажал себе рот и умоляющим взглядом попросил прощения.

Картина кончилась, все повалили из зала. Владимир Николаевич сказал:

— Как чудесно, какая замечательная лента. Можно я вас провожу, Нина?

Нина усмехнулась и сказала:

— У меня есть еще полчаса. Если хотите, проводите меня на Суворовский бульвар. Там меня ждут.

Владимир Николаевич так возмутился, так возмутился, что просто, просто... Ну как так можно издеваться над человеком? Ведь это... Это... ну слов нет... Ну что это такое?.. Я своими руками должен отвести ее на свидание... Ну уж простите... Есть предел всему... У меня тоже есть гордость...

— Хорошо, — сказал он, побледнев и сжав губы. — Я провожу вас на ваше свидание.

Они шли по Суворовскому бульвару, и он говорил, говорил, говорил... А она улыбалась и вставляла свои замечания, острые и смешные. А он говорил, говорил, говорил.

— Ну вот, — сказала она, — вот мы и пришли. Спасибо, что проводили.

Со скамейки встал долговязый технолог и, укоризненно покачав головой, постучал пальцем по циферблату часов.

— До свиданья, — сказала Нина, и она пошла со своим технологом.

— Нина, — вдруг сказал Владимир Николаевич, — так вы не забыли, что через пять дней у нас свадьба? — и, повернувшись, пошел в другую сторону.

Челюсть у технолога отвисла, он ошеломленно смотрел вслед Владимиру Николаевичу. Наверное, это было смешно, потому что Нина засмеялась.

"Технологи! — зло думал Владимир Николаевич. — Ну что она нашла в этих технологах? Подумаешь, технологи...".

— Ну что, устал? — спросила тетка в тулупе. — Ишь ты, как шагаешь. Садись, она вроде ничего. В крайности, я сойду.

— Ну что вы, не беспокойтесь, — сказал Владимир Николаевич, — я уж как-то приновился. Далеко еще?

— Не, не очень, верст двенадцать. А то садись. Ей-Богу, садись, совестно чего-то... И кобылка вроде трёхает, авось не упадет. А? Садись, солдатик...

— Ничего! Почту каждый день возите?

— Ну что ты, каждый... В неделю два раза. Бабы-то ждут. Письма, посылки, похоронки... Голодно ведь... Да и без мужиков невозможно...

...Владимир Николаевич не выдержал. На второй день он пошел в отдел кадров, взял адрес Нины и написал ей письмо: "Нина, Нина, Нина... Позвоните мне. Вы мне очень, очень нужны...". Через два дня она позвонила.

— Вы мне писали, не отпирайтесь, — сказала она.

— Я не отпираюсь, — задрожав, сказал Владимир Николаевич.

Двадцатого июня они расписались.

Двадцать четвертого июня Владимир Николаевич пришел в военкомат.

— Рота, смирно!

— Товарищи красноармейцы! Наша часть особого назначения будет защищать Москву до последней капли крови. Сейчас наши войска защищают подступы к столи-

це нашей Родины. Наша задача — в случае прорыва немцев к Москве — сделать каждый дом крепостью.

Взводу Владимира Николаевича достался дом на Первой Мещанской улице. Он очень удобно выходил на три стороны и контролировал Сретенку, Колхозную площадь и Грохольский переулок.

— Неужели до того дойдет? — шепнул Владимиру Николаевичу Володька Лебешев. — Фрицы в Москве, с ума сойти...

— Мы уверены, что Красная Армия остановит врага у ворот Москвы, но войска НКВД должны быть готовы к любой неожиданности. По казармам!

...Впереди показалась деревня.

— Это наша? — с надеждой спросил Владимир Николаевич.

— Нет, это еще Гороховка, — сказала тетка в тулупе, — нам еще кандехать дай Бог! Садись, говорю, в телегу...

Из домов высыпали женщины, торопливо завязывая на головах платки. Они стояли у крылец и заборов и напряженно вглядывались во Владимира Николаевича: чей идет? Они молча смотрели из-под руки и не отводили взгляда, когда Владимир Николаевич неуверенно и тихо говорил: "Здравствуйте..."

Они были все разные, эти женщины, — молодые и старые, городские и деревенские, в серых платках и белых пуховых шапочках, в валенках и в легких летних туфельках, в телогрейках и осенних пальто, накинутых на плечи. Некоторые прижимали к себе притихших детей. И все они молча смотрели в спину Владимира Николаевича, угловато шагнувшего вслед телеге в своей длинной нескладной шинели и кирзовых сапогах.

— Здравствуйте, — тихо говорил он, — здравствуйте...

— ...Здравствуйте, товарищи, — сказал капитан Шулеко, входя в казарму. — Вот тут у нас новенькие: прошу любить и жаловать. Кто обидит — голову снесу! Они пока в гражданском будут.

Новенькие были немолодые и озорные.

С ними занимался сам капитан Шулеко. Он гонял их

по плацу, обучал строевой и ласково ругал матом. Новенькие не обижались. Жили они отдельно и, когда к ним подходили солдаты, замолкали.

— Ну как, трудно вам, братцы? — спрашивал Володька Лебешев.

— Ничего, жить можно, — говорили новенькие.

...Ночью была боевая тревога. Дивизию погрузили в теплушки и повезли на Кавказ. Остановок не было. Другие поезда послушно уступали дорогу.

"Утомленное солнце нежно с морем прощалось", — пел Володька Лебешев. Он никогда не был на море и мечтал искупаться.

"Знаешь, — говорил он Владимиру Николаевичу, — всю жизнь мечтал поехать на Черное море. Я уж и денег накопил — у меня в августе должен был отпуск быть — а нет! Гитлер помешал, гадюка! Ну, думаю, после войны съезжу. Гляди, как повезло, война еще не кончилась, а я уже на море. А ты говоришь... Я еще в Париж съезжу, посмотрю, как французский пролетариат живет..."

"А в остальном, прекрасная маркиза.
Все хорошо, все хорошо..."

Поезд остановился в степи. Солдат построили и зачитали приказ: "За измену Родине и пособничество врагу жители области будут переселены в другие районы страны... Операция должна быть проведена за два часа... Руководство возлагается на уполномоченных офицеров".

Из вагона вышли новенькие. Они и впрямь были, как новенькие. Подполковники, майоры, капитаны.

— Видал, — восхищенно сказал Володька Лебешев. — Вот это конспирация. Прямо, как в кино.

Рота Владимира Николаевича подошла к темной деревушке, прилепившейся к подножию горы. Подполковник из "новеньких" дал последние указания: солдаты входят в дом, читают приказ и предлагают жителям в течение двух часов собрать все наиболее ценные вещи, которые можно взять с собой. Через два часа все жители должны

быть погружены в вагоны, которые отвезут их к месту назначения.

Владимир Николаевич, Володька Лебешев и еще два солдата постучали в крайний дом. Дверь не открывали. Солдаты постучали сильнее. Старческий голос за дверью что-то спросил не по-русски.

— Открывай, открывай, мамаша, свои — крикнул Володька Лебешев.

За дверью зашептались, потом загремели засовы, маленькая старушка испуганно выглянула из-за двери и, увидев солдат с автоматами, что-то крикнула в комнату.

Владимир Николаевич вошел в дверь, солдаты зажгли фонари и осветили некрашенные глиняные стены, маленькое слепое окошко, глиняный пол, старика в белье, за которого спряталась старушка, двух черноглазых детишек, таращивших сонные глаза.

— Они по-русски-то умеют? — спросил оробевший Володька Лебешев.

— Можем, можем, — глухо сказал старик.

Владимир Николаевич достал приказ и извиняющимся голосом прочел его.

— Там хорошо будет, — неожиданно добавил он от себя. — Вы не беспокойтесь, пожалуйста.

Он смотрел на старушку, и его охватывала нестерпимая жалость. Куда она поедет из этой своей мазанки? Он ожидал плача, криков, уговоров...

— Это нас со старухой или всех?.. — спросил старик.

— Всех, — успокаивающе сказал Володька Лебешев, — вы не волнуйтесь, батя, это всех так. Приказ такой вышел...

Солдаты вышли на крыльцо, чиркнули спичками, затянулись.

— Фу ты, елки, — сказал Володька. — А если б мою мать...

— Не болтай! — угрюмо сказал солдат с фонарем. — Предатели они, понял?

— Да это я понял, — угрюмо протянул Володька. Через два часа по дороге потянулись жители. Солдаты

стояли по обочинам и смотрели, как они тащили на себе мешки с вещами, какие-то патефоны, доски, тряпье, заколотых баранов, ревущих детей, зеркала. Человек в очках нес глобус. В степи, сколько хватало глаз, стояли товарные составы. Со всех сторон по дорогам, по степи, по траве шли люди с узлами и без. А вот и старик со старухой, за юбку которой держатся детишки. Они молча бредут мимо Владимира Николаевича.

— До свидания, — тихо говорит Владимир Николаевич.

— До свидания, — говорит старик и горько усмехается..

— Хорошо! — сказал подполковник из "новеньких". — Операция прошла хорошо. Каждый солдат получит десять суток отпуска...

... — Давай, я слезу, — говорит тетка в тулупе. — Вишь, проклятущая, захромала, чтоб ей ни дна ни покрышки. А ты сиди. Сиди, говорю, ноги-то не казенные. Ишь, задумался. Может, спишь?

— Нет, не сплю. Так...

Владимир Николаевич очень устал, ноги его одеревенели и замерзли.

Стало совсем темно.

Деревня вынырнула из-за поворота неожиданно, Владимир Николаевич даже растерялся.

— Во, — сказала тетка в тулупе. — Котлы. Вот ты и дошел, солдатик.

Телега нестерпимо скрипела по снегу, казалось, что кто-то проводит огромной вилкой по тарелке. Скрип и темнота. Избы неясно чернеют на фоне серого в тучах неба. Нигде ни огонька, ни человека.

"Куда идти-то?" — подумал Владимир Николаевич. Его шаги мерно хрустели вслед за телегой, и этот ржавый скрип взрывал тишину деревни. Владимиру Николаевичу показалось, что сейчас все проснутся. Он даже прошел несколько шагов на цыпочках.

— Какая изба-то? — спросила тетка.

— Да я и не знаю толком. Нина мне писала — изба бабы Василисы.

— Это какая ж Василиса? Тихова, что ли?

— Я, право, и не знаю...

— Ну пойдем, кликнем кого...

Лошадка встала, тетка, кряхтя, вылезла из телеги, пошла к ближайшему дому. Залаяли собаки. Сперва неуверенно, притягиваясь, потом все громче, громче и ожесточеннее...

Владимир Николаевич вспомнил: там, на Кавказе, тоже лаяли собаки, скуля и повизгивав, как-то неуверенно, не по-псиному. Собаки всюду лают одинаково...

Тетка постучала кнутом в дверь, кто-то выглянул в окно, тетка зашущукалась в темноте.

Владимир Николаевич вдруг отчетливо представил себе, что сейчас, вот-вот сейчас, он увидит Нину, Наташку, что сейчас, через каких-нибудь несколько минут, он вернется в то довоенное, далекое, о котором и подумать-то страшно, что сейчас он уткнется в Нинино плечо и вдохнет в себя его запах, такой далекий и желанный... И не будет войны, и не будет этих старческих тоскливых глаз и этой черной вереницы людей, бредущих степью к длинным товарным поездам, и не будет лая собак, и ничего не будет...

— Вон там Василисина изба, — сказала тетка. — Спасибо за мыло, служивый. А я в Совет поеду, почту сдам.

Владимир Николаевич подошел к крыльцу. Сердце его так колотилось, что он прижал к груди чемоданчик и только отдувался, как после тяжелого и долгого подъема в гору. Тук-тук...

— Кто там? — испуганно спросили из-за двери.

— Поляковы, Нина и Наташа, здесь живут? — спросил он белыми неживыми губами.

За дверью охнули, загремел скинутый крючок, и Нина молча прижалась к его мокрой, пахнущей табаком и вокзалом шинели.

...— Ну куда собралась-то? — ворчала баба Василиса. — На дворе метет, мороз... Без тебя доберется. Как дитя малое. Вон Наташка и то умнее. Что он, без тебя не доберется?..

Нина укладывала в чемоданчик вещи Владимира Николаевича. Он сидел на скамье в белой казенной рубахе, ку-

рил и смотрел на Наташку. Она играла на полу с его фляжкой, ремнем, медалью "За боевые заслуги". Она была какая-то спокойная, серьезная, что ли, и это очень пугало Владимира Николаевича. В первые минуты он жадно рассматривал ребенка, со странным чувством удивления обнаруживал в ней свои черты — нос, глаза, манеру улыбаться, — потом он вынул из чемоданчика шоколад и протянул девочке. Наташка равнодушно посмотрела на коричневую плитку и отложила в сторону. Медаль интересовала ее значительно больше. Нина виновато взглянула на мужа и сказала:

— Ты уж не сердись, Володя, она ведь этого никогда не видела.

Они шли на станцию. Нина осторожно держала Владимира Николаевича под руку и здоровалась с выходящими из домов женщинами.

— Это наши, московские, — шептала она на ухо Владимиру Николаевичу. — А вот у Маруси убили мужа.

Молодая женщина в черном платке увидела Владимира Николаевича и отвернулась. Владимир Николаевич почувствовал себя ужасно виноватым. Вот он, живой и ни разу не раненый, идет рядом со своей женой, а Марусин муж лежит где-то, зарытый в землю, и никогда не увидит свою Марусю.

Нина крепче прижалась к плечу мужа, и они пошли по знакомой дороге на станцию.

"А помнишь?.. А помнишь?.." — Они перебивали друг друга, им хотелось рассказать все, что накопилось, что было невысказано, о чем некому было больше рассказать. Они, в сущности, и не знали друг друга, они придумали друг друга в этой тяжелой солдатской разлуке. И Нина торопилась, ее не покидало чувство, что это последняя встреча, что больше она никогда не сможет идти рядом с этим человеком в серой помятой шинели. А потом они замолчали, каждый о своем. Владимир Николаевич подумал о том, как он приедет в часть и расскажет ребятам, измученным от дорог и от тоски по женщинам, о своей жене, о своей дочке, такой серьезной и отчужден-

ной. Нина думала о том, что надо было поставить в печку картошку, а то Наташка проголодается, а баба Василиса...

И долго им еще идти по дороге на станцию.

И когда Нина устанет и не сможет идти дальше, они найдут в поле старый, чудом уцелевший стог, заберутся в него, и Нина уснет, положив голову ему на колени, а он будет гладить ее волосы и думать, думать, вспоминать прошлое и предугадывать будущее.

И вот он приходит с войны, и Нина встречает его на Белорусском вокзале, и оркестры играют марши, и перрон устлан цветами, и Сталин стоит на трибуне и приветливо машет рукой, и они строем идут мимо толп москвичей, и Володька Лебешев поет на всю улицу Горького что-то невообразимо радостное, и вся жизнь пойдет по-другому, и Наташка будет сидеть у него на плече и размахивать красным флажком... Только бы дожить, только бы не эти тоскующие черные глаза и вереницы людей, тянущиеся к теплушкам в степи, только бы не голодный унылый вой собак по обочинам дорог, только бы не этот старик с цепляющимися детишками, только бы не Маруся в черном платке, с ненавистью глядящая на уцелевших в войне солдат.

И долго им еще идти по дороге на станцию...

20

Главному редактору от сотрудника А.Шифрина
Объяснительная записка

В ответ на Ваше требование дать объяснение по поводу письма, полученного в адрес редакции из Черемушкинского ЗАГСа города Москвы, должен сообщить следующее:

11 ноября с.г. я в качестве свидетеля бракосочетания явился в Черемушкинский ЗАГС, имея в виду окончательное оформление взаимоотношений между моим старым другом Юрием Абрамовичем Кадашевичем и Еленой Исааковной Щорс. Причем Юрий Абрамович, по паспорту

числящийся евреем, мог бы в свое время записаться русским, как это сделали все, кто мог так сделать, так как имел на то право, будучи сыном русской мамы. С другой стороны, Елена Исааковна Щорс, числящаяся по паспорту русской, на самом деле является внучкой Героя гражданской войны Николая Щорса, легендарного командира, известного также по песне "След кровавый стелется по густой траве". Женой Щорса в то незабываемое время была Фрума Ростова, настоящую фамилию которой я не знаю. Эта железная чекистка Фрума, давя контрреволюционеров, как клопов, во вверенном ей для этой цели городе Ростове, сумела родить от Н.Щорса дочь Валентину, которая, в свою очередь, подрастая, вышла замуж за физика Исаака Халатникова, в настоящий момент являющегося членом-корреспондентом Академии наук СССР. История его карьеры еще более поучительна, так как, живя в городе Харькове, он был вызван академиком Ландау для учебы в его семинаре. В то время Ландау, угнетенный длинным списком еврейских фамилий, образующим школу его учеников, натолкнулся на фамилию Халатников, что дало ему повод ошибочно подумать, что он разбавит школу физиков-теоретиков хоть одним русским человеком, о чем его неоднократно просили партия и правительство. Можете представить, как матюкался Ландау, узнав, что этот харьковский Халатников никакой не Халатников, а Исаак Маркович! Но дело было сделано. И вот от Халатникова и Вали Щорс появилась дочь Лена, которая записана русской в честь Героя гражданской войны Николая Щорса.

Прежде чем непосредственно описать все происшедшее в ЗАГСе Черемушкинского района, я должен на несколько минут вернуться к бабушке Фруме Щорс, которая, познакомившись со мной два года назад, когда я пришел в ее "дом правительства" на улице Серафимовича, 3, сказала мне фразу, которая стала в отношении меня традиционной. Фраза эта звучит несколько угрожающе, но, учитывая, что сейчас не то время, я могу Вам ее передать, если Вы, конечно, не сделаете ее более современной. Она

сказала мне тогда и повторяла это при каждой встрече со мной, в том числе и на свадьбе Юрия Абрамовича Кадашевича и Елены Исааковны Щорс: "Если бы ты попался мне в 1918 году, я бы тебя чпокнула". Думаю, что нет нужды объяснять, что выражение "чпокнула" было взято бабушкой Щорс из чекистского сленга времен гражданской войны и обозначало то же, что теперь более понятно под словами "убила", "уничтожила", "расстреляла". Одним словом, "чпокнула". Это было сказано в ответ на мое полемическое замечание за столом, когда я, анализируя современную международную обстановку, сказал ей:

— Мама, Коля был не прав.

— Какой Коля?—подозрительно спросила Фрума Щорс.

— Коля Щорс, — сказал я, показывая пальцем на портрет Героя гражданской войны, написанный масляными красками, размером два на полтора метра, висящий на стене.

— Почему это он не прав? — спросила Фрума, уже имея в голове фразу, записанную мною выше.

— Потому что Коля, — сказал я, — просто порубал бы острой шашкой всю свою родню, в ушах которой сверкают бриллианты с их неисчислимыми каратами, в то время как рабочие и крестьяне, за которых отдал свою молодую жизнь Коля, так и не вдели эти караты в свои уши, а, наоборот, приезжают на площадь трех вокзалов в Москве в количестве одного миллиона человек ежедневно и растекаются по широким проспектам столицы нашей Родины в надежде купить продукты питания и широкого народного потребления, чтобы увезти их в свои города и области, где все это достать не представляется возможным.

Конечно, я мог бы взять эти свои слова обратно и не лезть в душу Фрумы Щорс, которая, получая особый правительственный паек, полагающийся старым большевикам, могла и не знать тех послереволюционных мелочей, о которых я ей сообщил. Возможно, поэтому Фрума и сказала мне фразу: "Если бы ты попался мне в 1918 году, я бы тебя чпокнула".

Тем не менее, янисколько на нее не рассердился, а, наоборот, летом 1972 года, проводя свой отпуск в Коктебеле, этом райском уголке Крыма, познакомил Лену Щорс, внучку Фрумы и Николая Щорса, со своим старинным приятелем Юрой Кадашевичем.

Он приехал в Коктебель, заявляя, что он чрезвычайно прост и незатейлив, и что никакие удовольствия, в том числе сексуальные, не могут его занимать, и что лишь пустой светский разговор и легкие прикосновения составят счастье всей его жизни в настоящий момент.

Тогда я подвел к нему Лену Щорс в ее элегантном белом теннисном костюме и сказал Кадашевичу, что именно эта девушка может помочь во второй части его программы.

Она стояла стройная, загорелая, с иностранной ракеткой "Даунхилл" в руке. Ракетка эта была куплена в магазине "Березка" на сертификаты.

Здесь я должен объяснить Вам, что такое "сертификаты". Это такие особые деньги, выдаваемые отдельным вышестоящим товарищам, получившим право выезжать за границу и привозящим оттуда иностранную валюту. Эта валюта поступает в распоряжение особого банка, который забирает себе иностранные деньги и выдает их бывшим владельцам бумажки, которые называются "сертификатами". На эти бумажки можно пойти в особые магазины с красивым русским названием "Березка" и купить там заграничные изящные блузочки, зонтики, вкусные конфетки, икру, сделанную специально для иностранцев, и любительскую колбасу, изготовленную в особом цехе мясокомбината им. А.И.Микояна.

Как выглядят эти чудодейственные сертификаты, я не могу написать, потому что никогда их не видел. К сожалению, упомянутый мною миллион пассажиров, прибывающий на площадь трех вокзалов в Москве, тоже никогда их не видел, иначе бы железные дороги не выполнили плана пассажирских перевозок.

Юрий Абрамович, взглядываясь в намеченную мною спутницу его жизни, сказал, что он достаточно прост и

незатейлив, чтобы жениться на внучке Щорса и дочке академика, после чего Лена сказала несколько слов, которые не найдут места на этой странице и о которых Юра сказал, что более прекрасного мата он никогда не слышал и что это только укрепляет его в принятом только что решении.

После этого Юра снял за три рубля в сутки омерзительный чулан, который он ласково называл французским словом "шале", и увел Лену Щорс на широкую кровать, занимавшую семь восьмых этого помещения. В течение месяца, проведенного в Коктебеле, я несколько раз навещал их в этом "шале" для того, чтобы спеть с Юрой на два голоса полюбившуюся нам песню секретаря Союза писателей СССР Роберта Рождественского "Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню". Затем, вернувшись в Москву, познакомленные мною молодые люди подали заявление в ЗАГС Черемушкинского района, чтобы создать крепкую коммунистическую семью, ячейку общества, без которой отношения между вышеупомянутыми молодыми людьми носили бы стихийный, неупорядоченный характер, что вызвало бы нареkania со стороны соседей, вдовы героя Фрумы Щорс и члена-корреспондента АН СССР И.М.Халатникова.

На этом основании 11 ноября с.г. я в качестве свидетеля бракосочетания явился в ЗАГС Черемушкинского района в сопровождении жениха и невесты, имея в руках бутылку "Советского шампанского", купленную еще в Коктебеле с целью распить последнюю в момент обручения и бракосочетания. Подойдя к буфету, расположенному в помещении ЗАГСа, я вежливо и культурно попросил официантку выдать мне четыре бокала, чтобы провозгласить тост за здоровье молодых. На это мне было отвечено, что нечего приносить с собой и распивать в ЗАГСе спиртные напитки, так как спиртные напитки продаются в самом ЗАГСе и их можно купить. Тогда я, пообещав купить, пошел на ложный шаг, заявляя, что шампанское, принесенное мною, является французским, которое, к сожалению, нельзя купить в обычном магазине и что я при-

вез его из города Парижа специально на свадьбу моих друзей. Я понимаю, что здесь я зарвался, потому что никогда не был и не буду в городе Париже по той причине, что этого не может быть никогда. Но, будучи по художественной литературе хорошо знаком с Францией, этой страной Жана Эффеля, Жан-Жака Руссо и Жан-Поль Сартра, я, тем не менее, живо представил себе, что действительно был в Париже и привез эту бутылку оттуда.

Это объясняется еще и тем, что мы приехали в ЗАГС из квартиры молодоженов, где немного выпили за здоровье их крепкой молодой семьи. Может быть, поэтому я и назвал принесенное мною шампанское французским, или, как пишет в своей жалобе заведующая ЗАГСом Черемушкинского района тов. Зотова, "принесенное им французское шампанское впоследствии оказалось советским". Хотя если следовать правде жизни, а не правде факта, это советское шампанское свободно могло быть куплено мною в Париже и привезено оттуда на свадьбу моих друзей. Тем более что мы налаживаем отличные экономические отношения с Францией, нашим добрым западным соседом, и могли бы экспортировать туда советское шампанское, импортируя оттуда руду, природный газ и силикатные удобрения, нужные нашему сельскому хозяйству. Конечно, я мог бы привезти эту бутылку из Франции, если бы я там был. Но я там не был и поэтому, получив отказ буфетчицы, я, несколько раздраженный, разыскал заведующую ЗАГСом тов. Зотову и попросил ее оказать мне содействие в получении бокалов. Тов. Зотова разъяснила мне, что, согласно постановлению Моссовета № 576 от 26 июля 1971 г., принос с собой и распитие спиртных напитков в ЗАГСе категорически запрещен. После бракосочетания, сказала она, вы можете купить у нас вино и выпить за здоровье молодых. И сфотографироваться. Тогда я, не скрою, сделал то, что она описала в своем письме в редакцию. Я вынул свое служебное удостоверение с золотыми буквами "Пресса" и стал медленно водить им у нее перед глазами, говоря: "Ну ладно, ну, в порядке исключения, ну, в общем,

чего там, свои же люди..." При этом я напирал на то, что в моем лице она имеет невесту — внучку легендарного Щорса. В ответ на это тов. Зотова, прочитав в заявлении, что внучка легендарного Щорса "Исааковна", не поверила моим словам и отказала в выдаче бокалов. На мой остроумный вопрос: "Интересно, для чего вы здесь существуете: вы для молодоженов или молодожены для вас?" — она, не поняв скрытого в моих словах сарказма, сказала, что по этому вопросу мне надлежит обращаться в вышестоящие организации.

Тогда я прибег к другому маневру, игнорируя слова жениха Юрия Абрамовича Кадашевича, просившего меня быть проще и незатейливее.

Когда всех нас вызвали в зал и депутат райсовета, исполняющая роль дореволюционного священника, от имени Российской Советской Социалистической Республики теплым голосом поздравила Юрия Абрамовича и Елену Исааковну с образованием новой советской семьи, я вмешался в ритуал и попросил депутата выпить с нами по бокалу французского шампанского за те прекрасные слова, которые она сейчас произнесла. Смутьившаяся депутат пошла к буфетчице, чей отказ до сих пор заставляет меня негодовать, и через несколько минут, вернувшись, виновато объяснила, что бокалов ей не дали, а сказали, что молодые после расписки могут пройти в буфет и купить там вина. И сфотографироваться.

Тогда, не в силах больше сдерживаться, я вскрыл бутылку шампанского, и все мы, включая депутата, через все тело которой проходила алая муаровая лента, наподобие той, что одевают чемпионы на парадах, все мы выпили эту бутылку из горла, причем невеста, а теперь уже жена Елена Исааковна Щорс, внучка Героя гражданской войны, выпила большую часть, чем привела в восхищение своего мужа Юрия Абрамовича Кадашевича, вскричавшего: "Нет, посмотрите, как прост и незатейлив мой Ленок!"

И мы ушли из ЗАГСа Черемушкинского района, и я

пообещал на выходе заведующей тов. Зотовой долго-долго не забывать ее простое и милое лицо.

В связи с вышеизложенным прошу меня простить и не передавать мое дело в руки общественных организаций.

А.Шифрин, свидетель обручения.

21

По стране прокатилась волна "пресс-конференций". Это выглядело так: где-нибудь в помещении райкома партии собирали по ранее составленному списку несколько наиболее известных и получивших признание "партии и народа" евреев, которые должны были страстно обличить "преступную сионистскую шайку наемников американского империализма" и объяснить, что ни они, эти собравшиеся вместе евреи, ни их родственники и друзья, ни все другие "советские люди еврейской национальности" никогда не помышляли и не помышляют уехать в "государство фашистского типа", то есть, говоря проще, в Израиль.

Наиболее интересные кусочки таких "пресс-конференций" показывали по телевидению, и все могли видеть постные лица ораторов, которые, картавя и жестикулируя, убеждали советского телезрителя в своей лояльности "коммунистической партии и родному советскому правительству". Люди эти были в основном одни и те же: заместитель Председателя Совета Министров Дымшиц, академик Митин, писатель Чаковский, бывший летчик Гофман, генерал Драгунский. Иногда их разбавляли известным актером или председателем колхоза. Присутствующие на пресс-конференциях чекисты с отращиванием рассматривали разгоряченные лица выступавших, которые клялись им в вечной любви и признательности.

Вот Генрих Гофман. Летчик. Полковник. Герой Советского Союза. Бомбил Берлин. Потом стал писать книжки на военную тему. Хороший парень. Наверное, был смель-

чаком. Представляю, как он направлял свой бомбардировщик на горящий Берлин и хрипел сквозь стиснутые зубы: "На тебе, фашистская гадина, от еврея. От всех евреев. За всех евреев". Что же с ним случилось? Почему же он лепечет что-то "от имени всех советских людей еврейской национальности"? Вот артистка Быстрицкая. Красивая женщина. Сыграла Аксинью в кинофильме "Тихий Дон". Господи, она тоже еврейка! Кто бы мог подумать! Да, она тоже ни за что не поедет в Израиль. И другие советские артисты еврейской национальности тоже ни за что не поедут в Израиль. Все они с удовольствием будут играть роль Аксиньи. И другие роли. Если им доверят. А вот ей доверили. А она еврейка. Я представил, что эту речь сейчас слушают в Ростове-на-Дону потомки донских казаков. Да они разорвут эту красотку Быстрицкую! Подумать только, их Аксинью, их национальную героиню сыграла какая-то жидовка! Ну что же это происходит в мире?! Это же мир перевернулся! Не могли, что ли, найти русскую для такого важного дела? Уму непостижимо!

А вот председатель колхоза. Он говорит так: "Где, когда, в какой стране я мог бы себе представить, что ко мне, простому еврею, приедет в гости Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза и будет сидеть со мной за одним столом? Нет такой страны". Вообще-то он прав. Такой страны нет!

Я немного знал летчика Гофмана. Мы иногда пили с ним коньяк и пиво в "клубах творческой интеллигенции". В тот день я сидел за столиком с приятелями. На днях был "сионистский шабаш" где-то в Брюсселе, на котором наш представитель, Герой Советского Союза Гофман, разоблачил коварные планы Пентагона, стремящегося посеять вражду между народами Советского Союза. Он говорил, что за столом никто у нас не лишний. Он говорил, что с каждым днем все радостнее жить. Он сказал, что человек у нас проходит как хозяин необъятной Родины своей. И, в заключение, он отметил, что он другой такой страны не знает, где так вольно дышит человек. И евреи тоже.

Мы пили свой коньяк, а полковник Гофман проходил мимо. Он поздоровался и подошел к нам.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Знаешь, Гена, — сказал я ему. — Когда у нас будет Освенцим, ты будешь в нем капо.

Вообще-то я не хотел его обидеть. Ну не виноват он. Просто не герой. Нет, конечно, герой, но Советского Союза. Военный герой. На войне — другое дело. Там, наверное, легче быть героем — там враг. А в мирное время трудно сказать, кто враг, а кто — нет. Все враги. Или все друзья. Это смотря с какой стороны баррикады рассматривать. Он с такой болью смотрел на меня! Он был бледен и не мог сказать ни слова.

И я тоже не мог. Он вдруг вскочил и убежал.

...Через пять дней меня вызвал главный редактор.

Он вызвал по коллектору парторга. Мы молчали, пока не пришел парторг; редактор тяжело двигал желваками и смотрел в стол. Я был ему ненавистен.

Вошел парторг.

— Ну, что случилось? — спросил я как можно беззаботнее. Вообще-то говоря, я чувствовал, что случилось. Я должен был чувствовать.

Редактор сдержанно начал:

— Сейчас мне позвонили из парторганизации Союза писателей. Секретарь товарищ Васильев просил нас разобраться в деле Анатолия Шифрина. На днях он заявил Герою Советского Союза Гофману, что в нашей стране скоро будет Освенцим и, видите ли, Гофман будет там служить в качестве капо. Доигрался, смельчак липовый, трепло собачье? — вдруг закричал он. — Кто тебя тянет за язык? Либерала разыгрываешь? Да ты у меня в пять минут вылетишь из газеты и потом пять лет никуда не устроишься! Волчий билет тебе выдам! Ты что себе позволяешь?

— Мда, серьезное дело, — сказал парторг. — Я думаю, надо собрать партсобрание. Это какие-то очень нездоровые разговоры.

— Нездоровые? Да это просто черт знает какие разговоры! — кричал редактор.

— Значит, он меня все-таки выдал? — сказал я.

— Да как вы смеее употреблять подобное слово в отношении коммуниста?! — возмутился редактор. — Выдал! Словечко-то какое! Не выдал, а выполнил свой долг и рассказал партии правду. Или вам этого не понять?

Я стал соображать. То, что со мной покончено, это я понимал, но как выйти из этого дела с наименьшими потерями?

— Понимаете, — сказал я, — я был пьян...

— Ну и что?

— И он тоже был пьян...

— Ну?..

— И мы оба были пьяны...

— Ну и что, черт вас возьми?..

— Ну и по пьянке я ему совсем другое сказал...

— Что вы ему сказали?!

— Я ему сказал: "Гена, давай выпьем за то, чтобы у нас никогда не было Освенцима!"

— Кто это вам сказал, что у нас может быть Освенцим? — заорал главный. — Где это вы вычитали, что у нас это может быть? В каком больном сне вам это приснилось?

— То есть я не так ему сказал, что у нас обязательно будет Освенцим. Я ему сказал примерно так: "Гена, давай выпьем за то, чтобы во всем мире никогда не было Освенцима!"

— Так. А что вы там болтали про капо?

— Про какое капо?

— Про капо! Про капо! Вы знаете про "какое" капо!

— Я и слова такого не знаю...

— Слушайте, Шифрин, вы морочьте голову кому-нибудь другому, кто вас меньше знает. Сейчас же пишите мне объяснительную записку по поводу вашего возмутительного поведения!

Я стал понимать, что меня почему-то не выгонят. Могли бы выгнать и так, без объяснительной записки.

— Да, это дело серьезное, — сказал парторг, внимательно глядя на главного и стараясь понять, куда тот клонит. — Я думаю, что нужно собрать партбюро. Нездоровые какие-то складываются у Шифрина разговорчики...

— Вот так и сделайте, — сказал главный. — Мы тут пока решим, как с вами поступить, а вы пока идите, работайте. И пишите объяснительную.

Я пошел к себе. Нет, не выгонят. Что-то им помешает. А что? Побоятся огласки? Боятся, что я наскандаю? Симпатизируют мне? Непонятно...

Через пять часов меня снова вызвали.

— Так, — сказал главный. — Мы решили совместно с партбюро, что, во-первых, вы извинитесь перед товарищем Гофманом за нанесенное ему оскорбление, а во-вторых, мы понижаем вас в должности и лишаем части зарплаты за ваш хулиганский пьяный поступок.

— Намного?

— Что намного?

— Лишите...

— На двадцать пять рублей в месяц.

— Ну, а теперь скажите, — шепотом сказал я, — могли ли я за двадцать пять рублей сказать негодяю, что он — негодяй?

— Нет, — закричал главный, — ни за двадцать пять рублей, ни за тридцать, ни за тысячу вы не имеете права этого сделать! Вы же на работе! Какое право вы имеете иметь собственное мнение? Почему вы думаете только о себе? Почему вы не подумали о своих товарищах? Ведь их могли бы вышвырнуть из-за ваших идиотских слов!

— А причем тут мои товарищи? — удивился я.

— А притом, что они тоже евреи. Е в р е и ! Неужели такая простая мысль не могла прийти в вашу башку, в которой шевелится, максимум, одна извилина?

— Да, он прав, наверно, — подумал я. — Конечно, прав. Скотина я. Дурацкая легкомысленная скотина.

И я позвонил Гофману и извинился перед ним.

— Я не хотел тебя обидеть, — сказал я.

— Я ждал твоего извинения пять дней! — яростно сказал он.

— А на пятый...

— А на пятый день я исполнил свой долг! Мне надоело получать плевки в лицо! Если бы ты был на моем месте...

— До свидания! — сказал я.

...Через несколько месяцев я зашел к главному.

— Ну, что еще?

— Я хочу просить вас вернуть мне те двадцать пять рублей.

— Это еще почему?

— Не управляюсь с бюджетом, — сказал я, протянув ему бумажку со столбиком цифр. — Вот посмотрите. Вы мне платили 200 рублей в месяц. Теперь я получаю 175. Из них — 25 рублей — подоходный налог. Остается 150. На работу и с работы ехать надо? Минус 6 рублей на проездной билет. 144. Завтракать надо каждый день? Скажем, 1 рубль в день. Минус 30. Остается 114. Обедать надо? Надо. Работник без обеда — не работник. Скажем, 1 рубль в день. Минус тридцать. Остается 74. Вы вечером ужинаете? Я тоже. Скажем, 1 рубль в день. Минус 30. Остается 44. Я курящий человек. Имею я право на эту слабость, как высокооплачиваемый журналист? Пачка в день. 30 пачек по 40 копеек. 12 рублей. Остается 32. В прачечную надо сходить раз в неделю? 6 рублей. Остается 26. За квартиру надо платить? Согласитесь, что при таких обстоятельствах просто счастье, что у меня маленькая однокомнатная государственная квартира, а не двухкомнатная кооперативная. Поэтому всего лишь 10 рублей. Остается 16. А газ, свет, телефон? Минус 6. Остается 10. Почистить обувь и одежду надо? Я же не в котельной работаю. Минус 5. Остается 5. А членские взносы в профсоюз? А другие общественные организации? Минус 3. Остается 2. Мы с вами интеллигентные люди. В кино надо пойти раз в месяц? Минус 1. Остается 1. Я советский человек или нет? Имею я право выпить бутылку водки с приятелями хоть раз в месяц? Тем бо-

лее, что у меня такие неприятности! Имею! И если вы добавите к оставшемуся рублю три рубля и 12 копеек из личных сбережений, я смогу себе это позволить. Не так ли?

А теперь давайте вспомним, что у меня есть семья. Что же я как отец и муж могу принести домой? Ведь я, грубо говоря, кормилец!

Главный зачарованно смотрел на меня, загибая пальцы на руках.

— Так на что же вы живете? — заинтересованно спросил он.

— Не знаю, — честно признался я. — И не забудьте, что я высокооплачиваемый специалист.

Главный вызвал бухгалтера и сказал ему:

— Верните ему двадцать пять рублей, потому что он меня очень расстроил. Но чтоб больше никаких Освенцимов, ясно?

22

— Мой молодой друг, — сказал мне редактор, зачем вы мне подсовываете эту антисоветчину? Вы что, серьезно думаете, что я пропущу этот рассказик на страницы нашей газеты?

— Конечно, — сказал я, — читатели будут очень рады прочитать этот острый и правдивый рассказ.

— Какие читатели? — устало спросил редактор. — У вас до сих пор есть иллюзия, что те, кто читает нашу газету, и есть наши читатели?

— Да, конечно. Читатели — это те, кто нас читает.

— Голубчик, — сказал редактор, — читатели делятся на две неравные части: те, кто читает нас снизу, — это подписчики, и те, кто читает нас сверху. Тех, кто внизу, мы оставим в покое, пусть себе читают. Для этого мы с вами и работаем. Давайте подумаем о тех, кто читает нас сверху. Их всего шесть человек. Шесть читателей. Представьте, что одному из них не понравится этот вот рассказик. Да вы костей не соберете, дружок. Вы превратитесь в пыль.

Понимаете? Ведь я вас не защищу. Я ведь скажу, что не читал этого рассказика. А подсунули его вы! Ну и где вы будете? И вообще не понимаю, зачем вам все это нужно? Что вы лезете на рожон?

— Да понимаете, — сказал я, — хочется наконец говорить правду. Ведь для чего-то же мы родились на свет.

— Ну и что вам даст ваша правда? Вы уверены, что люди хотят читать правду? Я не уверен. Правда очень неудобна. Ну представьте, человек болен раком. Вы полагаете, что врач должен сказать ему правду?

— Врач должен лечить!

— Ах, дорогой мой, это не так просто! Врач должен прописать больному вкусные пилюли, чтобы не пугать ни его, ни окружающих. А вы призываете к вскрытию. Это не гуманно.

— Но ведь больной умрет!

— Ничего не поделаешь. Мы еще не бессмертны. Понимаете, идеи бессмертны, а человек пока, к сожалению, смертен. Поэтому не надо лезть ко мне с вашими острыми, но антисоветскими рассказиками.

— Но не может человек все время врать. Ваш больной весь в розовых душистых бантиках. Но от него смердит. Неужели не пора лечить?

Редактор грустно играл авторучкой.

— Некоторые постаревшие молодые люди, — сказал он, — все время живут довольно старыми идеями. Ну, скажем, идеями двадцатого съезда. Боже упаси, не думайте, что я против! Как можно быть против? Культ личности, и все такое... Но ведь надо подходить к жизни диалектически: сегодня у нас на дворе — решения двадцать четвертого съезда! Вот этим и должен жить настоящий советский человек. Если он, конечно, не хочет, чтобы ему оторвали голову. Так что заберите обратно свой рассказик и никогда его больше мне не подсовывайте.

— Ну, этого я вам обещать не могу! — зло сказал я.
— Почему?

— Потому что меня еще не купили. Я пока имею право на свою точку зрения.

Редактор насмешливо посмотрел на меня и сказал:

— Ну что ж, это уже интересно. Давайте об этом подумаем. Так сколько же стоит ваша точка зрения?

— Столько же, сколько ваша точка зрения стоит вам.

— Ну так, сколько же?

— Извольте, — сказал я. — Персональный оклад — раз! Спецбуфет — два! Государственная квартира — три! Спецпаек — четыре! Бесплатные путевки на курорты — пять! Закрытая поликлиника — шесть! Закрытая больница — семь! Персональная дача — восемь! Персональная машина — девять! Трехмесячный оплаченный отпуск — десять! "Зеленая улица" моим рассказам в толстом журнале — одиннадцать! Ежегодные поездки в капстраны — двенадцать. И кое-какие поощрения в закрытых конвертах — тринадцать! Что еще?

— Достаточно, — мягко сказал редактор. — Это слишком дорого, голубчик. Все это нужно заслужить. Поэтому вы пока оставайтесь на своем месте с вашей замечательной правдой, а я уж останусь на своем со своей кривдой. Идет? Но, тем не менее, вы еще служите у меня. Поэтому я вас научу сейчас основным требованиям, которые мы предъявляем к литературным произведениям, а вы их будете выполнять. В любом другом случае, как мне ни жаль, нам придется расстаться. Вы мне симпатичны, в вас есть комсомольский задор. Бодрости в вас много. Ах, молодость, молодость!..

Редактор надолго задумался.

— Итак, — начал он, — все сотрудники печати делятся на две неравные группы. К первой относятся люди, сочувственно относящиеся к общественным идеям, возникшим в стране в результате XX съезда КПСС. Такие, как вы, мой молодой друг. Они желают напечатать и иногда "проталкивают" на наших страницах произведения так называемых "честных" (видите, я не боюсь такого слова) писателей и публицистов, обличающих пороки нашей системы, или стремящихся реформировать наши экономические и государственные институты.

Им противостоит вторая, гораздо более многочис-

ленная группа людей, задачей которой является не допустить подобные материалы на печатные страницы. К таким людям, естественно, принадлежу я.

Итак, на меня возложены особые обязанности, и я не су ответственность перед ЦК КПСС за идейный уровень своего издания. В свою очередь, я накладываю такие же обязанности на всех, кто работает под моим началом. Разумеется, у разных людей разная степень политической зрелости. Вот вы, дружок, не выдерживаете простой проверки на политическую зрелость, и я, при всей моей симпатии к вам лично, должен был бы давно показать вам на дверь. Но мне хочется вас переубедить. Мне все еще кажется, что из вас будет толк в нашем деле, что вы еще небезнадежны.

Продолжим. Каждый сотрудник печати должен выполнять цензурные функции. Что же это такое?

Нет ли в материале, написанном автором, чего-либо, что можно истолковать двояко? Скажем, в вашем рассказе есть афоризм: "Очередь станет меньше, если сплотить ряды". Это намек на длинные очереди в наших магазинах. И пародия на партийный лозунг — "если сплотить ряды". Конечно, эта фразочка не найдет места в нашей с вами газете.

Нет ли намека на существование конфликта поколений?

Нет ли намека на неразрешенные межнациональные проблемы?

Нет ли намека на серьезные экономические трудности?

Нет ли ненужных обобщений?

Не преобладает ли негативное отношение к жизни?

Где жизнеутверждающий юмор? Заметьте, жизнеутверждающий, то есть утверждающий нашу жизнь!

Нет ли намеков на ошибочность генеральной линии партии?

Не обижают ли, не дай Бог, в пародиях или фельетонах руководителей партии и правительства, признанных писателей, руководителей центральных общественных и других организаций и т. п.

Нет ли критики рабочего класса и колхозного крестьянства?

Нет ли критики государственного аппарата?

Нет ли скрытой поддержки диссидентов?

Не перебивается ли критика отдельных недостатков с отдельными утверждениями западных радиостанций, работающих на Советский Союз?

Не преобладают ли на страницах еврейские фамилии?..

— А это еще почему?

— Надеюсь, вы не думаете, что я антисемит?

— М-м-м...

— Напрасно вы мычите, вы отлично знаете, что нет. Ну подумайте сами, что, если в русской московской газете вы встретили бы только, скажем, узбекские фамилии, вам бы не показалось это странным?

— Если бы они талантливо писали...

— Не успокаивайте себя, голубчик, вам бы показалось это странным. Ну, а если вам все время встречаются Бирманы, Офштейны, Штейнбоки, Лившицы и Левенбуки... Разве это не странно?.. Вы не устали?

— Нет, продолжайте...

— Далее. Нет ли намека на разрыв единства партии и народа?

Нет ли намека на расхождения между партийными лозунгами и их осуществлением?

Не увидят ли в ЦК КПСС намеков на возвращение к сталинским временам?

Вот когда любой сотрудник, включая, разумеется, и меня, может ответить на все эти вопросы в требуемом для нас смысле, тогда газета выходит в свет, к радости своих читателей и почитателей.

Мы замолчали. Редактор улыбаясь смотрел мне в глаза.

— Знаете, шеф, — сказал я, — вы умный и интеллигентный человек. Почему вам интереснее жить так, а не иначе? Ведь я хорошо себе представляю, как вы, вернувшись домой после работы, закрываете шторами окна, ложитесь в постель, закрывшись с головой одеялом, и при

свете карманного фонарика, чтобы никто не видел, читаете стихи Гумилева.

— Очень образно, мой милый, — сказал редактор, — именно так я и делаю. И вам советую.

Я хотел себе представить, как этот человек стал таким. Как они все стали такими. И я сказал ему:

— Передо мной такая картина, шеф. Вас вызывают к товарищу Х в большой дом на Старой площади. Вы не знаете, зачем вас вызывают. Вы волнуетесь. Вы нервничаете. Просто так не вызывают. Что-то, вероятно, случилось. Вы перебираете в памяти все свои проступки за последний месяц. Год. Пять лет. Всю жизнь. Ведь что-то когда-то вы совершили. Или хотели совершить. Или кому-то показалось, что вы хотели совершить. Или кому-то показалось, что вы могли совершить. Точно в назначенное время вы приходите на прием. Военный при входе как-то особенно тщательно проверяет ваши документы. Он несколько раз испытующе переводит взгляд с фотографии на вашем документе на ваше лицо. Глаза у него спокойные и безжалостные. Наконец он говорит: "Пожалуйста!" — и вы проходите в приемную. Там нет посетителей. Вы один. Вы осторожно садитесь на краешек кожаного дивана и ждете. Ждете час. Два. Три. Никого. Дверь, в которую вы вошли, автоматически захлопнулась за вами. Тысяча мыслей раскалывает вам голову. И вдруг молодой вышколенный служащий, появившийся, как из-под земли, вежливо (слишком вежливо, как вам кажется) говорит:

"Следуйте, пожалуйста, за мной".

Вы идете по длинному чистому коридору к огромной двустворчатой двери без вывески.

Молодой человек открывает дверь и кивком приглашает вас войти.

Вы проходите за дверь, которая бесшумно захлопывается за вами, и попадаете в огромную комнату. Она белая. И потолок белый, и пол. Окна затянуты белыми занавесями. В первую минуту вам кажется, что комната абсолютно пуста, но потом вдалеке вы замечаете письмен-

ный стол и склонившегося над ним человека. Он что-то пишет. Он не замечает вас. Вы медленно, как бы пересекая поле, идете к столу. На сердце у вас пусто и скучно. Человек поднимает голову, улыбается и поправляет очки в золотой оправе. Он встает, обходит вокруг своего огромного стола (когда вы прошли через всю комнату, вы поняли, что стол огромен) и идет вам навстречу. Он крепко пожимает вашу руку. Вы облегченно вздыхаете, тяжесть, которую вы носили на сердце все эти дни до приема, начинает вас оставлять. Человек берет вас под руку, и вы прогуливаетесь по этой белой комнате, и человек тихо и проникновенно говорит вам:

"Как хорошо, что вы пришли дорогой! Если бы вы знали, как нам нужна ваша помощь. Посмотрите, что творится в мире! Мы окружены врагами. Нам трудно работать. Молодежь отравлена чуждыми влияниями. Крестьяне не работают. Рабочие не хотят повышать производительность труда. И во всем этом виновата наша интеллигенция. Казалось бы, чего ей не хватает? Мы создали для них лучшие в мире условия, а они все равно не с нами... Вы должны нам помочь..."

Вы ходите с ним вдоль белых стен, и человек говорит, говорит, говорит, тихо и уверенно. И вот тут он нажимает маленькую белую кнопку, и бесшумно открывается маленькая железная дверь в стене. И вы видите все, что происходит за этой дверью. А человек все говорит и говорит о доверии, о происках врагов, о будущем, о прошлом и об огромной вашей ответственности. А вы все смотрите и смотрите туда, за потайную дверь в белой стене... И то, что вы видите там, на всю жизнь — на всю жизнь! — остается в вашей памяти!

Потом дверь медленно и бесшумно закрывается, и человек провожает вас до порога, и жмет руку, и говорит, что он уверен в вас, одним из лучших людей, с которыми ему довелось встречаться.

Что же вы увидели там, за маленькой железной дверцей в стене, шеф? Что же вы там увидели?

И редактор, сразу постаревший и уставший, сказал:

— Идите к себе, дорогой. Я что-то неважно себя чувствую сегодня.

23

Его смерть была неправдоподобна. Он не мог умереть. Умирают люди. Он не мог умереть. И что мы без него? И что Россия без него? Он умрет — погибнет Россия...

Он умер.

24

— Шифрин, хочешь поехать за границу?

— Виноват, не расслышал...

— Не чуди, серьезно говорю. Есть путевки в Болгарию. Туристские. Дешевые. Для комсомольского актива. Ах, черт возьми, хочу ли я посмотреть мир?

В детстве мама читала мне стихи:

"На далекой Амазонке
Не бывал я никогда..."

Когда я вырос, я узнал, что это Киплинг.

Потом я узнал еще много других поэтов и писателей. Я присутствовал на острых литературных баталиях: бездарные уничтожали даровитых. Даровитые были мягкотелые интеллигенты — им были противны методы бездарных. Поэтому они всегда терпели поражения. Бездарные были мускулисты и невежественны. Они выступали сомкнутыми рядами. Они приклеивали даровитым ярлыки и "измы" и терзали их. Даровитые молчали. Некоторые из них не выдерживали и начинали писать "под бездарных". Тогда бездарные говорили: "Видите, может ведь, а не хочет! Ведь может, сукин сын, когда захочет..." Я знал многих поэтов и писателей... И разных...

Но Киплинг запомнился мне неизъяснимой тоской стихов, которые в детстве читала мама:

"Увижу ли Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
Увижу ли Бразилию,
До старости моей?"

Потом я придумал для знакомых легенду о своей невесте, живущей в Африке.

— Что ж ты, брат, неженатый до сих пор ходишь? — ежедневно спрашивали меня знакомые. — Нехорошо, ай-ай-ай!

И они делали такое лицо, как будто я был главный развратник в нашем городе. Мне жутко надоел этот вопрос. Не мог же я им объяснить, что у меня просто нет девушки, что я никого не люблю и не могу жениться Бог знает на ком. И я говорил им:

— Понимаете, это очень трагичная история. Моя невеста живет в Африке.

— Как в Африке? — удивлялись знакомые.

— Да, в Африке, — печально говорил я, — она сидит в Африке под пальмой, ест кокосовые орехи и сохнет от любви. При первой возможности куплю билет, съезжу в Африку и привезу ее домой. Мы поселимся с ней в Жмеринке.

— Ну тебя к черту! — плевались знакомые, но те, кому мне удавалось рассказать о невесте под пальмой, больше не приставали ко мне.

В конце концов мне самому начало казаться, что моя судьба живет где-то далеко-далеко, что она, одинокая и печальная, рассказывает своим заморским знакомым о своем женихе, сидящем под развесистой клюквой в холодной, далекой России.

"Ну что ж, Болгария — не Африка, но это уже мир, — подумал я, — поеду в Болгарию". О Болгарии я знал лишь то, что знали остальные граждане нашей страны, а именно: "хороша страна Болгария, а Россия — лучше всех". Посмотрим — решил я, подал документы, прошел все проверки, собрал характеристики и анкеты и выехал с группой активистов в Европу.

Группа у нас была большая — человек двадцать. Во главе нас стоял товарищ Шишков, мрачный и подозрительный юноша, похожий на артиста Файта. Его правой рукой был парень, которого я прозвал "верный помощник Фигура". Это были люди серьезные и бдительные.

— Главное — порядок, — любил говорить наш руководитель. — Главное — не расходиться, всем держаться вместе. Он пересчитывал нас, как цыплят, а "Фигура" поддерживал его с тыла.

— Все тут, — кричал он. — Пошли!

Болгария поразила меня. Это была красивая и добрая страна. В Болгарии любили Россию, любили за свое освобождение от турок, за соседство, за славянство. В Софии мостовые были выложены желтым камнем... Вечером рестораны заполняли горожане. Они приходили семьями, пили вино ели отбивные, широкие, как караваяи, и подпевали оркестрам, тихо игравшим в углу. Приходили дети. Они чинно садились за столик и пили лимонад через соломинку.

Первый конфликт с товарищем Шишковым произошел у меня в Картинной галерее.

— Гляди, чего нарисовано, — сказал "Фигура", — это ж надо. Вот у меня брат, Колька, ему пять лет, он и то лучше нарисует.

-- Нет, дорогой, — сказал я, — твой Колька так не нарисует.

— Вот эту мазню-то? — удивился "Фигура".

И тут я полез в бутылку. Я как дурак стал объяснять бедному "Фигуре", почему его брат Колька не сможет создать ничего подобного. Я объяснил ему, что надо учиться, что живопись так же трудна иногда для восприятия, как симфоническая музыка, что это не мазня, а...

— Так, — сказал "Фигура", — понятно... Значит, защищаешь их?..

— Кого "их"?

— Знаем кого, — зловеще сказал он и пошел шептаться с товарищем Шишковым.

— Простите, — сказала мне экскурсовод, — но я невольно стала свидетелем вашей интересной дискуссии. — Она улыбнулась. — Если у вас есть время, я бы хотела вам показать еще кое-что.

Она отвела меня в запасник и показала еще несколько картин. И хоть они не показались мне по-настоящему оригинальными, я все же похвалил эти произведения. Ей было очень приятно, я видел по ее лицу, что ей нечасто приходится беседовать об искусстве, а тут единомышленник, да еще из России.

В гостинице товарищ Шишков сказал:

— Не нравятся мне эти разговоры, Шифрин. Умным хочешь быть, да? Мол, я понимаю, а вам, плебеям, не понять, да? Оригинальничаешь, да?

— Да что ты, — сказал я. — Просто у "Фигуры" иммунитет против искусства. Оно ему не грозит.

— Странно это, — сказал товарищ Шишков. — Учти, что я тебе сказал...

Переводчиком в нашей группе была болгарская девушка Павлина. Она училась в университете на русском факультете.

Мы лежали на пляже, на Золотом берегу близ Варны, и наслаждались покоем. Перед этим у нас была поездка в колхоз...

Когда председатель колхоза рассказал нам о своих успехах и познакомил нас с членами сельсовета, я встал (товарищ Шишков поручил мне это) и сказал:

— Нам очень понравилось здесь у вас, нам понравилось, что на полях много молодежи. Нам понравилось, что вы хорошо одеты и что в вашей деревне есть ресторан и музей. Нам понравилась ваша уверенность в завтрашнем дне. Мы рады, что вы хорошо живете. Я поднимаю мысленный тост за дружбу наших народов.

— Почему же мысленный? — воскликнул председатель.

Он хлопнул в ладоши, открылись двери, и болгарские девушки в национальных платьях, румяные и кареглазые, внесли в зал вино и закуски. Мы, честно говоря, проголодались и...

Болгарская "сливовица" обладает свойствами напалма: если дохнуть, то на расстоянии двадцати метров сжигается все живое...

Колхозники аккуратно собрали наши живописно разложенные тела и бережно отнесли в автобус.

— До свиданья, до свиданья!..

Один глаз у меня спал, а второй смотрел, как крестьяне, сгрудившись у сельсовета, махали нам вслед платками, и шляпами, пока наш автобус не скрылся за пыльным поворотом...

Поэтому мы лежали на Золотом пляже и наслаждались покоем.

— Скажите, Толя, — говорила мне Павлина, — почему вы, русские, такие подозрительные? Почему вы иногда говорите одно, а думаете совсем другое?

— Вы не правы, Павлиночка, — сказал я, думая о чем-то своем, — мы не такие. Мы — рубахи-парни, у нас что на уме, то и на языке!..

— Неправда, Толя, — сердилась она, — вот, например, товарищ Шишков. С виду он спартанец, а вчера вечером он делал мне странные намеки, а когда я ему сказала, что он, наверное, шутит, он раскричался, что напишет на меня письмо, будто я плохо веду себя с делегацией.

— Сволочь он, Павлиночка, — сказал я, — сволочь и гадина.

— Что такое сволочь, Толя?

— Сволочь — это идиоматическое выражение... В Болгарии нет такого слова, Павлиночка...

За моей спиной раздался шорох, из-за кустов поднялся наш верный помощник "Фигура" и сказал:

— Пропаганду разводишь, контра? Советских людей порочишь? Ладно...

Вечером был трибунал.

В палатке собралась "тройка". За столом сидели товарищ Шишков, "Фигура" и мой товарищ по палатке Лешка Спасский. Товарищ Шишков сказал:

— Перед нами — человек, забывший, что он — представитель нашей великой страны. Еще раньше он защищал

в музее абстракционизм. Сегодня он опозорил своих товарищей. Я вношу предложение выслать его досрочно на Родину и сообщить о случившемся в соответствующие организации. Голосуем.

— Это верно, — сказал "Фигура".

— Что же ты молчишь, Лешка? — спросил я своего товарища. — Скажи что-нибудь.

Лешка не смотрел на меня. Он опустил глаза и поднял руку.

И я испугался. Господи, как я испугался! Я задрожал от страха. Что же со мной будет? Это же будет ужас, если они выгонят меня. Не будет мне места на земле! Я представил себе... Мне стало страшно, у меня исказилось лицо. А они смотрели на меня и торжествовали.

— Простите меня, — прошептал я, — я поступил глупо и плохо. Простите меня...

— Нет! — сказал товарищ Шишков.

Я вышел из палатки и побрел в лес. Лучше повеситься! Чтоб у меня язык отсох! Кто меня просил лезть в их дела? Сиди и помалкивай! Вот теперь тебе сломают жизнь! Что же делать-то? Упасть им в ноги, покаяться? А где мое достоинство? К черту, к черту достоинство!.. Я громко застонал.

Из палаток вышли остальные члены нашей группы. Они стояли у своих палаток и смотрели мне вслед. Я был совсем один. Мне было страшно. Мне было страшно до липкого противного пота. Меня бил озноб от страха. В эту ночь я понял, что такое страх. Я понял, как страшно быть одному. Я понял, что я был не прав, а товарищ Шишков — прав. И я никогда не забуду, как омерзительно чувство вины за правые поступки. И я понял тех, кто подписывал себе смертные приговоры в тридцать седьмом, ставя подпись на ложных доносах. Ими руководил страх.

Утром товарищ Шишков сказал:

— Мы обсудили твое поведение на собрании группы и решили, что ты закончишь вместе с нами поездку, а по приезде в Москву мы напишем отчет о твоих поступках куда следует.

— Спасибо, — сказал я, — спасибо...

...Наш поезд прибыл в Унгены. Это станция на границе Румынии с Советским Союзом. Мы приехали домой. Мне было очень тяжело.

— Здравствуй, Родина! — закричал товарищ Шишков.

Он схватил "Фигуру", и они помчались в буфет. Потом они пошли в свое купе, скрывая под пиджаками бутылки. Вскоре оттуда раздалось пение, гогот, крики. Потом все утихло.

"Здравствуй, Родина, — грустно подумал я. — Чем ты встретишь меня?"

В это время к поезду прицепили еще один вагон. Это возвращался из-за границы очень важный работник. Он ехал в отдельном охраняемом вагоне. Те, кто его сопровождал, обошли поезд и, так как наш вагон был последним, они загляли крайнее купе. Я смотрел на них. Меня вдруг осенило. Вы не поверите, что было дальше! Я решил отомстить товарищу Шишкову. Я решил сделать так, чтобы он побывал в моей шкуре. Я хотел, чтобы он понял, что такое страх.

Я посвятил в свой план своего приятеля, кинооператора Вадьку Круглова, и приступил к работе. Я открыл дверь их купе и растормошил спящих с похмелья товарища Шишкова и "Фигуру".

— Что, что? — захрипели они, продирая глаза.

— Что же вы, ребята, — зашептал я. — Не могли уж дотерпеть до Москвы?

— А что такое?

— Да понимаете, неприятности... Вы тут выпили...

— Ну?

— Ну и... Нет, вообще-то нехорошо получилось...

— Что получилось?

— Да... Ну, вы выпили, стали кричать... Лозунги всякие... Анекдоты...

— Брось!

— Что, повторить, что вы говорили?

И вдруг товарищ Шишков сказал:

— Не надо.

— А тут прицепили вагон с товарищем N... Охрана... Военные... Они услышали, что вы здесь орали, и спросили у меня: "Кто эти люди?" Ну, не мог же я им не сказать. Я назвал ваши фамилии... Они записали... Вот и все...

Они стали зеленые, как трава. На их лицах появилось страдание. Они непонимающе смотрели друг на друга и пытались улыбнуться.

— Неприятное дело, — сказал я.

Вошел Вадька Круглов.

— Да, ребята, попали вы, — серьезно сказал он, — жуткая история. Там полковник сидит, злой как черт. Он вам даст! А Толька что мог сделать? Он сказал...

— Врешь! — отчаянно сказал товарищ Шишков... — Врешь, не может быть. Пойду, узнаю...

Я был на волоске.

— А что он тебе скажет? — как можно спокойнее сказал я. — Он же на службе. Он тебе скажет: "Ничего, ничего, все в порядке", а фамилии у него на бумажке.

Товарищ Шишков уже не был похож на артиста Файта, он был похож на мокрую курицу. "Фигуру" качало. Он совершенно отрезвел и выпученными глазами смотрел на меня и Вадьку. Казалось, он не понимает ни слова.

Товарищ Шишков решил. Он прошел в купе, где сидели наши "полковники", и сказал одному из них:

— Вы простите, мы тут выпили немного, на Родину вернулись, и... это...

— Ничего, ничего, все в порядке, — улыбнулся "полковник".

У меня отлегло. Товарищ Шишков не ожидал этой фразы. Как слепой он добрался до своего купе и запер за собой дверь.

Вадька сказал:

— Гляди, как их разобрало.

— Еще бы.

— А чего они перепугались?

— Они двоедушны. Они подумали, что могли сказать то, что мы им приписали.

Через полчаса я заглянул в их купе.

— Вот что, — сказал я, — я попробую поговорить с "полковником". Думаю, что он меня послушает.

— Пожалуйста, Толя, — заныли они, — ты же знаешь, что может быть...

— Я-то знаю...

Я пошел в купе к моему липовому "полковнику" и предложил ему партию в шахматы. Он сделал мне мат, я поблагодарил, написал на бумажке фамилии товарища Шишкова и его верного помощника "Фигуры", пошел в купе к умиравшим от страха и ожидания руководителям и бросил бумажку к ним на стол.

— Здравствуй, Родина! — я смотрел в окно и курил. А мимо проплывали белые подмосковные березки, дачные поселки и речушки...

"Увижу ли Бразилию,
Бразилию, Бразилию,
Увижу ли Бразилию,
До старости моей?"

x x x

РАЗГОВОР С ПЕРВЫМ ЧИТАТЕЛЕМ

— Так... Вот, значит, ты как... Ну что ж тебе сказать? Умная голова дураку досталась, вот что я тебе скажу... Вот... Сидишь, сидишь, пишешь, пишешь — а толку что?.. Ну кто тебя напечатает с этакой галиматьей? Ну о чем ты написал? Все критикуешь? А кому она нужна, твоя эта "критика"? Тоже мне, критик! Видали мы таких критиков... И где они теперь? Кто им целует пальцы, так сказать? Ха-ха-ха. Понял, нет? Ну чего ты притворяешься? Да будь у меня такой талант — черкать на бумажке, я бы, знаешь, что делал? Деньги. Молодой ты еще, не знаешь, что это такое — фигли-мигли... Придуриваешься... Вот ты и в книжонке своей паршивой придуриваешься.

Думаешь, никто не понимает? Ну-ка, поедem к тебе в гости, разорюсь на такси ради такого случая. Так... Шеф, сдачи не надо. У тебя какой этаж? Третий? Ничего. Дверь-то обить дерматином нужно, а то слышимость, знаешь, какая! Ты чихнешь, а сосед "будь здоров" скажет. Ха-ха-ха. Ну вот. Санузел совмещенный... Комната-то одна? Одна... так... Ну и что, хорошо ты живешь? Врешь. Плохо. Послушай меня, я тебе по дружбе скажу, плохо ты живешь... А почему, знаешь? Умная голова дураку досталась. Вот ты пишешь: то тебе не нравится, это... А что тебе нравится? Советская власть тебе нравится? А ведь я знаю: нравится. Зачем же ты ей мешаешь? Мешаешь ты нам. Под ногами путаешься. Критику наводишь. Анархию хочешь устроить? Не хочешь? Чего ж ты тогда пишешь? А как надо писать, знаешь? Вот у тебя небось душа болит: то увидел нехорошее, это... Так ты, дурья голова, садись и пиши докладную записку. Прямо туда напиши. Так, мол, и так. Душа, мол, болит, предлагаю сделать то-то и то-то. Там уж разберутся. И спасибо тебе, дураку, скажут. И ежели ты толковую докладную составишь — глядь, тебя и в помощь возьмут. А там и скажут: "Голова у него умная, дать ему оклад такой, чтобы он ни о чем другом не думал. И чтоб его драгоценные ножки от трамвая не уставали, дать ему машину. Человек он молодой, женатый, детки у него пойдут — как же он в одной комнате с семьей жить может? Дать ему квартиру с комнатой для няньки". Вот ты и в люди вышел. И мне со стороны на тебя смотреть приятно. Понял? Это тебе не книжки маракать. Так — кто ты есть? Тьфу, пустое место. Мне бы твой талант... И вообще, зачем ты политикой занимаешься? Какой политикой? А такой... Ты все норовишь нас лицом в грязь... Кому это нравится? Ты "спасибо" говори. Научись этому делу, за все — спасибо! Ты нам "спасибо", а уж мы тебя не забудем. Совесть? При чем тут совесть? Молодой ты еще. Трудно с тобой разговаривать. Не понимаешь ты простых вещей... Ну кто ты сейчас есть? Козьявка... Козьявке совесть не положена... На совесть ты еще права не имеешь. Сначала на ноги встань.

Добейся почета у государства, у руководства, а уж потом балуйся как хочешь. Хочешь, в совесть играй, хочешь — не играй. Лирика это все, лирика... А лирику в карман не положишь. Щей из нее не сварить. Вот к тебе товарищ пришел, а у тебя на столе бутылки нет. Ты не подумай, я все понимаю. Конец месяца, с фиглями-миглями плохо. Верно? А жизнь в том, чтобы ты товарищу в любое время мог бутылку поставить и не думать, что завтра у тебя будет. Вот тебе и совесть. Вот тебе и лирика. Гляди, бутылка появилась. Молодец! Не ты молодец — хозяйка твоя молодец! Твое здоровье!.. А ты брюзга, мой милый. Тебе все нехорошо. Что нам хорошо — тебе нехорошо. А мы этого не любим. Понял? А вопросы в книжонке своей подымаешь, в которых не разбираешься. Ведь не разбираешься? Потому что решать вопросы большие люди должны, а не мы с тобой, букашки-таракашки. А ты хи-и-и-трый! Про Сталина ни слова, а Сталин за каждой строчкой стоит. Смелчак ты липовый! Вот вы все на Сталина навалились — думаете, выйдет у вас что из этого? Ничего не выйдет. Потому что Сталин много полезного сделал. Ишь-ишь, заулыбался глазками... Ты не улыбайся, а слушай умных людей. Сталин еще себя покажет. Думаешь, проживете без Сталина? Шиш вам. Не сумеете! Непосильно вам без Сталина. Порядку-то нет! Вот и ты бумагу изводишь, тризну по Сталину справляешь. Гляди: подсчитали — прослезились... Жизнь — она одну правду имеет. Двух правд не бывает. Верно я говорю? То-то! Твое здоровье! А вы — интеллигенция вшивая, — вы на каждый случай свою новую правду изобретаете. И что выходит? Ты в Сибири бывал? То-то. Я там правдоискателей навидался. Каких хочешь! Я там эсэсовские лагеря охранял. И такое было в жизни... Так что мы с ними два года душа в душу жили. Вот они дисциплину понимали. Твое здоровье!.. Нет, брат, с твоим талантом — деньги делать. Деньги — они независимость дают. Правду надо писать, правду! А правда — это то, что народ, партия уважают. Пойдешь против народа, партии — из тебя мука посыпется. Понял? Твое здоровье! Так что кончай это де-

ло... Мы тебя будем... В общем, ты парень — ничего! Не трусь... Мы тебе... Твое здоровье...

РАЗГОВОР СО ВТОРЫМ ЧИТАТЕЛЕМ

— У меня, видите ли, сложное отношение к прочитанному. Вы, с моей точки зрения, поставили вопрос в несколько необычном ракурсе. И потом такое заострение... Ну зачем вам, скажем, муссировать и без того сложный вопрос? Ну... этот вопрос... Ну, вы понимаете... Ведь с этим, слава Богу, давно покончено, не правда ли? Ну не совсем, что ли, покончено, но сейчас это в некоторой степени — вчерашний день, не правда ли? Я бы на вашем месте как-то смягчил эту тему. Ну разве так уж необходимо снова будоражить людей? И потом наши экономические проблемы. Ну разве это могло быть? Я воспринял это как некую карикатуру. Ну конечно, конечно, — не зеркало, а увеличительное стекло, конечно! Но это, видите ли, ставит под сомнение очень многое... Нет, я отлично помню девиз Маркса "во всем сомневайся", но, простите, не до такой же степени... Мне представляется это весьма неправдоподобным. Ну и уж совсем недопустимо трактовать нашу деревенскую жизнь так, как вы ее трактуете! Были, конечно, некоторые искажения... Но главное при этом не потерялось, не правда ли? И эта поездка за рубеж... Очень неприятно, что вы таким странным образом охарактеризовали сопровождающих делегации товарищей. Возможно, среди них и попадались не вполне, так сказать, интеллигентные люди, но большинство из них очень и очень уважаемые товарищи с большим опытом работы, не правда ли? И главное — ваш герой... Ах, дорогой мой, какой на редкость несимпатичный у вас герой! Даже слово "герой" к нему ни с какой стороны не подходит. Ну какой это герой? Уж очень он необаятельный какой-то, инертный, плывущий, так сказать, по воле волн... Нет, я вполне могу себе представить, что в жизни встречаются такие люди, — но зачем тащить их в литературу?

Ведь литература, в сущности, — это исследование героической личности в ее, так сказать, воспитательном аспекте. И мы знаем немало примеров... Ну, скажем, Павлик Корчагин. Ах, какой, в сущности, прекрасный пример для подражания, не правда ли? Да и вся классическая литература. Что? Анна Каренина? В каком смысле? Ах, для подражания? Э-э-э, видите ли, конечно, не следует подражать ей в прямом смысле, но ее образ, так сказать... Кто? Я сам? Ну разумеется, в какой-то степени я тоже стараюсь подражать... Павке Корчагину? Ну... в какой-то степени... Ну, не буквально, разумеется... Следует ли подражать литературным героям? Интересный вопрос... А кому тогда подражать? Как, зачем подражать? Не понимаю... Вся история нашей литературы... Нет, я, разумеется, понимаю, что лучше подражать живым людям, чем придуманным писателями. Но зачем тогда литература, позвольте вас спросить? Все-таки она должна меня направлять... Я прихожу домой, беру в руки книгу и ...Нет-нет, вы меня не убедили... Вернемся к вашему герою. Почему он такой... как это лучше сказать: не борец? Как, с кем бороться? Со злом, конечно! Ну, я не могу поставить себя на место вашего героя, и все-таки его пассивность... Культ личности?... Ах, знаете, это уже становится модным. Чуть что — культ личности... Мне кажется, что здесь, по секрету вам скажу, мы уже перебрали... Не так страшен черт. И потом — это утомительно — все время читать о теневых сторонах жизни. Я решительно выступаю за изображение светлых позитивных сторон жизни. Это вливает бодрость, душевное здоровье, как-то веселее после этого жить на свете. А вы — сгущаете. Сгущаете, мой дорогой, определенно сгущаете. В конце концов, мало ли в жизни темного... — зачем нам обо всем этом знать? Литература должна успокаивать. И утверждать! После того что у нас было, нелепо, по-моему, снова возвращаться к этим темам. Что было, то прошло! Кто старое помянет... Давайте, лучше напишите комедию: легкую, искрящуюся, полную светлого юмора, без всяких там идей. Просто смешную комедию. Уверен, что

все порядочные люди скажут вам спасибо. Комедию, мой друг, комедию! И поменьше думайте о всяких страшных вещах. Не они главное! Не они! И пусть у вас будет герой в комедии — молодой, мускулистый, смелый, сильный, личность, знаете ли. И пусть у него будут трудности, а он их будет преодолевать. Любые трудности! Вот какой герой нам нужен. И за такое произведение все скажут вам спасибо.

РАЗГОВОР С ТРЕТЬИМ ЧИТАТЕЛЕМ

— Прочитала, конечно, прочитала... Не очень внимательно — дел много, но все-таки прочитала. Сейчас, простите, я кастрюлю на газ поставлю. Жалко, у вас про любовь мало написано. А так — интересно... Я как дошла до того места, как этот парень в троллейбусе влюбился в девушку, — про свою жизнь вспомнила. Мой Лешка такой же был. Он меня в метро заметил. На какой станции? Что вы! Тогда станций не было. Забой был. Шахта. От Сокольников до парка. Я тележки возила. Ой, смешные мы были! Комсомолочки. По комсомольскому призыву. Я тогда совсем девчонкой была, озорная была, ужас! Ну, а Леша в райкоме комсомола работал. Все речи нам говорил. Красиво говорил: "Даешь, говорит, метро стране Советов!" Расписались мы с ним, керосинку купили, шкаф, раскладушку... Вы меня извините, я кресло подвину... Спасибо... Ну вот... Леша работал тогда много. Тогда не то что сейчас, знаете, звонок прозвенел — работа кончилась. Тогда сколько надо — столько работали. Леша с работы прямо черный приходил. "Знаешь, говорил, Катя, невозможно, сколько кругом вредителей! Как грибы растут. Одних возьмем — другие появляются. Цепь какая-то! А все мировой капитал!" Однажды пришел — туча тучей. Знаешь, говорит, Колька Воробьев — тоже вредителем оказался. Враг народа он. Сегодня его арестовали... Я говорю: "Лешенька, не может этого быть! Мы ж с тобой Кольку как свои пять пальцев знаем. Колька на твоих глазах с пяти лет

рос. Вы же вместе жизнь прожили. Зачем ему быть вредителем? Ну ты сам-то как думаешь?" Леша говорит: "Не нашего ума это дело. Ни за что у нас не арестовывают. Проглядел я Кольку. И из-за него, подлеца, у меня партбилет могут запросто отобрать. А я без партии — не жилец на этом свете."

Я говорю: "Как же теперь Рахиль без Кольки проживет? Не выдержит Рахиль этого". А Леша говорит: "Ты эти разговоры оставь. И Рахиль больше сюда не пускай. Нечего ей здесь делать. Не подруга она тебе..."

А тут война началась. Леше, конечно, бронь дали. Вы не думайте — он не трус какой-нибудь, у него орден — целая грудь, вешать некуда. И он работник хороший. Куда его ни пошлют — он всюду работал. И по хлебозаготовкам, и по кадрам, и по издательствам, и по науке, даже по кино работал. Вот у вас в книжке про институт написано. Леша в институте тоже работал — начальником отдела кадров. Ох, и намучился он со студентами. Сами понимаете — время-то какое было. Очень нужно было всех внимательно проверить. После войны — и из плена было много, и на оккупированной территории оставались, дети врагов народа подросли, ну и это, про что у вас написано. А Леша за все отвечай. А тут приходит ко мне Рахиль Михайловна — Коли Воробьева жена. "Катенька, говорит, поговори с мужем. Что же они Сашку моего не приияли? Ведь учиться нужно, жалко парня-то. Коля-то, говорит, мой не вернулся. Один у меня Сашка". Я Леше рассказала, посуровел он и говорит: "Ты, говорит, Катя, в эти дела не вмешивайся, ничего ты в них не понимаешь. Не нашего ума это дело. Если его не приняли — значит, так надо. И не говори мне про это больше". Ну ладно. А тут Сталин умер. Господи, ну и натерпелись мы горя! Леша прямо убивался, плакал как ребенок. "Как же мы теперь, говорит, жить будем? Не может Россия без Сталина жить. Ведь все в мире со Сталиным связано. Теперь, говорит, погибнет мир. Кто нам его заменит? Чье теперь слово законом будет?.. "

Кто, я? Нет, я не работаю сейчас. Когда война началась, у меня Мишка родился. Ну, сами знаете, ребенок в доме хлопоты, то, се... Только больно мне очень — не ладит Миша с отцом. Как отец скажет что, у Мишки глаза узкими становятся, желваки под скулами так и ходят, страшно даже становится. Я ему говорю: "Мишенька, ты что папу-то обижаешь? Ведь добра он тебе хочет". А он мне в ответ: "Мама, говорит, разные мы с ним люди. Слепой он и всю жизнь слепым прожил. А я так не могу. И не буду!" — "Что же ты, говорю, Мишенька, переделать папу хочешь? Так ведь он пожилой человек, ему трудно переучиваться. Его жизнь так научила". А Миша говорит: "Нет, мама, мне его не переучить. Но и меня он пусть не учит по-своему жить. Ненависть, говорит, у меня поднимается". Вот горе-то какое. И куда они лезут-то, что старый, что малый? Упрутся, каждый свое доказывает. Отец бледнеет, по столу стучит: "Раньше, говорит, за такие разговоры, знаешь, что делали? К стенке ставили!" А Мишка говорит: "Трудно вам теперь! Всех поставить придется!" Ох, и зачем они лезут в эти материи... Не нашего ума это дело. Заболталась я с вами, а суп-то весь выкипел... А книжку я прочла... Не очень внимательно, а прочла...

РАЗГОВОР С ЧЕТВЕРТЫМ ЧИТАТЕЛЕМ

— Инфантильность — порок вашего поколения. Вы поздно мужаете. А часто вообще навсегда остаетесь мальчиками. С вами всегда чувствуешь себя неуверенно, ибо вы не способны на поступки. Конечно, в этом виноваты мы. Мы сами создали вам такие условия... Это оттого, что старались скрыть от вас наше разочарование. Нам многое пришлось не по душе. Я хорошо понимаю, как появился ваш герой. Ну конечно... "Мы мирные люди, но наш бронепоезд...", "Зови, Буденный, нас смелее в бой...", "Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага..."

Сытые кони били копытами, а враг уже у Москвы.

Как это все могло произойти? Вы представляете: мы, молодые, здоровенные парни, лежим в окопе. Холодно... Есть хочется. И за каждым кустом — немец. И справа — немец. И слева. И в небе. Особенно в небе. И сечет он нас, мерзавец, с бреющего полета. И танки. Омерзительные, скрежещущие танки, против которых, кажется, все бессильно. А ты с винтовкой образца 1891 года. Вот так. И самое ужасное — неопределенность. Почему отступаем? Где наша авиация? Где пушки? Куда мы идем?

В нашем взводе — все москвичи. Так уж посчастливилось. Представляете — лежим в окопе, стреляем в тени на горизонте и вдруг - вз-з-з, — и Коля Лопухов уткнулся в землю. Вз-з-з — и Мишка Рубинчик убит. Ты в ярости кусаешь губы и переполняешься ненавистью. Убивать, убивать, как крыс, как скорпионов. И ты стреляешь, стреляешь, стреляешь в тени на горизонте, пока лейтенант не скамандует отход. Опять отход! Почему отход, черт возьми?! И мы снова отходим, наскоро забросав землей Колю Лопухова и Мишку Рубинчика.

А потом... Потом я увидел перед собой немецкие автоматы. "Хенде хох!.." Читали в сводках? "При выполнении та-та-та задания взято в плен более та-та-та тысяч солдат и офицеров противника...". Вот я и оказался "... тысяч солдат и офицеров...". Только с другой стороны...

Нас вели по пыльным подмосковным дорогам. Колонна была длинная, к нам все время вталкивали новых. Мы проходили вдоль деревень. У заборов стояли дети и старики, сурово и жалостливо глядевшие в наши грязные, заросшие лица, на наши серые гимнастерки, серые, как дорога, которую мы месили своими босыми ногами. Немцы были веселые. Они смеялись и стреляли в тех из нас, кто уже не мог идти или отставал... Они мурлыкали свои гортанные песни и похлопывали нас по плечу. Они были сытые и довольные. "Москва — капут! — говорили они. — Сталин — капут! Рус — капут!" Я вспоминал свой дом у Красных ворот, маму, которая умрет

с горя, узнав, что я "пропал без вести". Я представлял немцев, марширующих по Красной площади, взрывающих мавзолей Ленина... Это было нестерпимо...

Нас построили, пришел какой-то офицер, сказал по-русски: "Командиры, большевики и евреи — шаг вперед!" Все знали, что будет, никто не вышел. Офицер засмеялся и пошел вдоль строя, пристально глядя нам в глаза. Он считал себя, наверное, большим физиономистом. Иногда он останавливался и тыкал кому-то в грудь пальцем и громко говорил: "Еврей... Комиссар... Большевик..." Солдаты тотчас вытаскивали из строя этого человека и через мгновение за дровяным сараем раздавалась короткая автоматная очередь... Он посмотрел мне в глаза. Он очень долго смотрел мне в глаза. Потом он засмеялся и пошел дальше.

Банально, правда? Мы уже как-то привыкли к таким сценам. Кино, книги... Но так было! А мне — 18 лет! И я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Офицер пошел дальше, а я остался жить. Я хотел только одного — убежать. Убежать! Вот сейчас поворот — и я, по-заячи петляя, махну в лес, а там будь как будет. Вот мы идем по дороге, немцы-конвоиры прикуривают друг у друга. Вот сейчас... Ну!.. Нет, нельзя! Колонна брела молча, мы не разговаривали друг с другом: мы не доверяли друг другу. Кто этот лохматый дядька, идущий рядом со мной? Какая зверская рожа... Наверное, бывший кулак. Небось ждал немцев, как манну небесную и в первом же бою сдался. У-у, предатель! А сам-то я кто? Ведь я тоже попал в плен. Наверное, этот дядька со зверской рожей думает обо мне то же самое...

В старой, полуразрушенной сельской школе нас допросили. Допрос вел тот же офицер в черных лайковых перчатках. Он сказал мне:

— Садитесь. Чем вы можете быть полезны?

— Ничем, — сказал я.

— Такой молодой мальчик, — сказал он, — и так хорошо ищет пули. Не надо торопиться.

Он здорово говорил по-русски. Он так здорово гово-

рил по-русски, что казалось, что он артист, переодевшийся в немецкую форму, что вот сейчас он скажет: "Ну, ладно, спектакль окончен. Хорошо ли я играл свою роль?"

Но я убежал. Я убежал из этой колонны. Я лег в придорожный кювет, и ряды пленных сомкнулись надо мной. Я здорово выбрал момент. Это было на повороте. Я здорово выбрал момент. И когда они прошли, я встал и побежал в лес. Смешно, правда? Братья Гримм. Но так было! Ах ты, лес мой, прекрасный мой лес! Горькая ты моя воля! Внутри меня — одно колотящееся сердце, а сверху небо, а сверху кроны, а внизу листья и трава. И трава... И нет никакой войны. Просто человек в лесу. И воздух. И нет никакой войны...

А потом я дошел до наших. Двадцать раз я умирал, двадцать раз я издыхал от голода и страха, двадцать раз меня могли поймать, но я дошел до наших. Я должен был дойти.

Меня допрашивал офицер из СМЕРШа. Он постукивал портсигаром по столу. У него было усталое лицо. Когда я все рассказал, он внимательно посмотрел мне в глаза. Он долго смотрел мне в глаза и сказал: "Врешь ты все, конечно. Куда теперь тебя?.. Нас не обманешь, нам все известно..."

Бог ты мой, почему он был так похож на переодевшегося артиста?

Просто не знаю, зачем я это вспомнил. Ведь столько лет прошло. Ах да, ваша книжка... Вот я и говорю — инфантильное поколение. Мы были более подготовлены к жизни, но тоже достаточно наивны. Мы полагали, что жизнь подобна газетным заголовкам. А когда столкнулись с ней...

РАЗГОВОР С ПЯТЫМ ЧИТАТЕЛЕМ

— Зовите меня просто Яша. В вашей повести я не усмотрел одной очень важной детали. Ведь колючая проволока, опутавшая всю страну, разделила ее на две

части: на лагерь, в котором заживо сгнило пятьдесят миллионов людей, и лагерь, в котором заживо гниют остальные двести миллионов. Наша с вами тюрьма расположена по обе стороны колючей проволоки. Разница лишь в условиях содержания. А по сути дела, и зэки — те же, и надсмотрщики — те же. Ужасно даже не это, всем очевидное, за исключением слепых и дураков, ужасно другое: человек, работающий по другую сторону колючей проволоки, не хочет стать свободным, он хочет стать надсмотрщиком! И это — основное достижение режима. Ваш герой что-то понял, к чему-то пришел. Он не пришел лишь к простому и ясному выводу: надо уходить! Боюсь ли я так говорить? Уже не боюсь. Всю жизнь боялся, а теперь не боюсь. Потому что знаю, что уйду. Надо уйти из страны с остановленным процессом жизни.

Вот вы все кричите: дайте свободу, верните возможность критики, освободите рынок производства от пут! Смешно все это слышать взрослому человеку. Ну подумайте сами: как может режим, построенный на абсолютной, бесконтрольной, кровавой власти, отдать вам то, что он забрал ценой таких невообразимых усилий? Да никогда! Знаю, знаю, что вы скажете: тогда надо бороться с таким режимом. Но посмотрите на два шага дальше. Никогда диктаторы не отдавали свою власть без борьбы. А сейчас и подавно! Но хотя бы на минуту представим, что, не дай Бог, начнется революция. Ведь это Россия! Революция в России — это всегда изуверская гражданская война. Забыл, чем она была в те далекие двадцатые? Сначала будет террор, уничтожающий интеллигентов, жалкие их остатки, и, конечно, евреев. Потом, как учит историческая наука, люди, стоявшие в тени, уничтожат тех, кто совершил эту революцию, и, конечно, евреев. А потом, как водится, будут разруха и голод. Потому что эта будущая революция будет направлена на ломку ненавистного всем старого аппарата. А кто умеет делать новый? Кто умеет работать? И тут надо сказать о втором огромном достижении режима: он уничтожил человеческую инициативу и уме-

ние работать в "досоциалистическом" обществе. Ну хорошо, вы прогоните тиранов и диктаторов и захотите открыть свою булочную. Любой нормальный человек на Западе и Востоке скажет мне сейчас: ну и открою! А русский, советский человек не может так сказать. Как это "открою"? А кто мне даст муку, а кто будет платить продавцам, а кто мне даст деньги? А кто мне даст?.. Даст! Ведь у него, русского человека, атрофировано понятие "я сам", у него безусловный рефлекс на слово "дадут". А дать будет некому! Да, я понимаю, помогут! Дадут! Видите, опять "дадут". А что дадут? Деньги. А опыт, а навык, а умение, а желание, а гарантии, что не повторится?.. А людей, способных создавать, гоже "дадут"? А вдруг не дадут? Почему? Ну, представьте такую точку зрения того, кто будет "давать". Россия — огромная многомиллионная страна с неисчерпаемыми ресурсами. Если ее подкормить, одеть, дать ей представление о свободной экономике и прочая, и прочая, — станет она великой и богатой державой? Станет! А не превратится ли она в мощного и непобедимого конкурента на мировом рынке? Превратится! А кому это выгодно? Так "даст" или "не даст"? Правильно, либо "даст", либо "не даст". А если "не даст"? И тогда на долю нашего поколения выпадет такое, что не снилось несчастным современникам "военного коммунизма" Ленина и "коллективизации" Сталина.

А давайте пореальнее, поближе к нашему быстротекущему времени. Давайте взглянем в сторону Китая. Не шевелятся ли у вас волосы на голове, когда вы внутренним взором видите будущие бои с этим восточным нашим "другом"? Не испытываете ли вы священного ужаса при одной мысли, что за безымянную высоту № 6 в бой рвутся войска противников, — оба под красным знаменем, оба с красными звездами на касках, и оба кричат на разных языках одинаковое заклинание смертников, типа, скажем: "Да здравствует товарищ Ленин!"? Видите ли вы себя в рядах наступающих, или, лучше сказать, отступающих? Я не вижу. Я не хочу уми-

рать там, на Амуре, под этим заклинанием. Я не хочу быть ответственным за преступления безумных вождей. Надо уходить!

Да спустимся еще ниже, на грешную нашу землю. Вот я работаю. У меня очень хорошая должность и вполне удовлетворительный оклад. Я хороший специалист. Правда, как говорят в народе, незаменимых у нас нет, но меня пока не заменяют. Но я ошибся, понимаете, ошибся вузом. Меня не приняли в свое время в тот вуз, куда у меня было призвание (ну, конечно, похоже на вашего героя,— а у кого не похоже?), и вот всю жизнь я работаю не на своем месте. И никакой возможности сменить мою жизнь и профессию на другую у меня нет. Ну никакой! И всю жизнь до старости и смерти я буду делать это, не свое, дело. А я больше не хочу! Не могу больше. Я хочу жить иначе. Ведь человек с возрастом меняется, а? И привычки меняются, и мысли, и правила жизни, и мировоззрение. В разные годы человек разный. И я разный. Какой-то японец сказал, что человек на протяжении жизни должен несколько раз менять свои имена, потому что то, что он говорит в двадцать лет, совсем не то, что он думает в сорок, и, уж конечно, не то, что он полагает в шестьдесят. Но ведь мы так не можем! Мы "приписаны" к своей квартире, к своему городу, к своей национальности, к своей работе, к своим мыслям и поступкам с момента рождения. Мы заданы, мы сконструированы, как машинки, задолго до своего рождения. Мы "должны"! У нас есть вечный, неоплатный "долг"! Государство говорит нам всю жизнь всего два слова: "надо" и "нельзя".

"Надо, Вася! Так надо".

"Почему?"

"Потому! Не задавай глупых вопросов!"

"Нет, Вася, нельзя!"

"Почему?"

"Потому! Не задавай глупых вопросов!"

И так всю жизнь! С пеленок. Мой сынишка пришел из детского садика и спел мне стишок:

"И за наше детство
И за детский сад.
Партия, спасибо
Ото всех ребят!"

"Что такое партия, сынок?"

"Партияспасибо!" — сказал мне сынок. Понимаете, в одно слово: "партияспасибо". Жалко мальчонку-то. Ведь ему потом прозревать. А это мучительно, мучительно это!

А что впереди? А впереди ясная, до сумасшествия жизнь. С точно и навсегда составленным расписанием: на работу, с работы, телевизор, иногда кино, летом — в отпуск с женой на юг, в какой-нибудь клоповник за три рубля в сутки, потом опять работа с "остановленным процессом", где нельзя высказать и осуществить ни одной свежей идеи. Потом пенсия и жуткое ничегонеделание на лавочке возле дома или одуряющая игра в домино с такими же, как ты, старыми хмырями, выброшенными за борт даже такой убогой жизни, потом крематорий с торопливым шепотом служащей: "Быстрее, быстрее, товарищи, вы здесь не одни, другие тоже дожидаются"... Мы превратились в Богов, знающих свое будущее. Что может быть скучнее этого! Мне иногда кажется, что скука — вдохновитель и организатор войн и революций, миграций и эмиграций, преступлений и наказаний! Один хороший поэт написал такие стихи:

"А скука такая стояла в стране,
Такое затмение рассудка,
Что если шутка могла развлечь,
То только кровавая шутка!"

А я так устал от кровавых шуток российской истории! Хочется жить! Хочется что-то делать! Ведь мне только до пенсии — двадцать лет! Как же я буду работать? Ради чего? Надо уходить! Тогда я попробую пережить время, я проживу две жизни, а не одну! И я не хочу заранее знать своего будущего! Я хочу сам

его делать! Сам, понимаете? Я хочу начать сначала. Я хочу уйти от своего прошлого и боюсь такого, запрограммированного, будущего. И когда я уйду отсюда, мне снова будет двадцать лет! И я начну учиться заново! И учиться жить! И спасти своих детей я хочу! Им-то будет легче! Куда уйти? Это уже второй вопрос. Главный вопрос — откуда уйти! Не жалко ли?.. Не страшно ли?.. Конечно, страшно! Там все чужое, и, главное, там чужой язык. Ведь русские мы, русские, какие бы национальности ни были проставлены в нашем паспорте, мы, рожденные и выросшие в России, — русские! И мы умеем слышать шелест русских хлебов в поле и стоны русских крестьян! И мы умеем читать золото мазков Андрея Рублева и буквы над обгоревшими алтарями русских церквей! И мы видим капли росы на чахлой траве, примятой пронесшимся грузовиком, и слезы матери, чей сын гложет от ужаса в мордовском лагере № ВС 389/35! И мы чувствуем боль, разрывающую сердце Достоевского и Солженицына, и боль их героев, выхваченных как бы лучом фонарика из толщи нашей жизни. Мы сами их герои. Или анти-герои, если угодно...

И, конечно, язык. Как страшно терять язык, Господи, как страшно! И это мягкое московское "што", и чеканное ленинградское "что", и окающий говорок волжан, и сибирское "цоканье", и весь этот мир идиом, сленга, мата, подтекстов, шуток и афоризмов, существующих только по-русски, и все эти языковые вольности, игра эта, когда ты понимаешь язык пародии и стилизации и знаешь его истоки и причины. И мысли твои русские, русские мысли твои, куда их денешь, кому выскажешь?! И все равно, надо уходить! Надо уходить! Не от этого, милого, родного, с чем сжился, что любишь, чем живешь, не от друзей твоих, не от близких, не от любимых, а от отупляющего, уничтожающего, не знающего сострадания и морали беззакония!

Беззакония в ранге закона. От закона, имеющего обратную силу. Подумайте, предположим, сегодня я со-

вершил нечто, что считается нарушением закона. Я знаю, что за мой проступок, за мое преступление закона, я должен получить, допустим, год тюрьмы. И вот меня судят. И судье звонят в совещательную комнату по телефону (вот он, образ беззакония — телефон в совещательной комнате!) и говорят, что принят закон, по которому за преступление, которое я совершил, надо давать, скажем, десять лет тюрьмы. Или повесить! Как говорится, доверяй, но расстреляй! И судья, повесив трубку, вешает одновременно и меня! У него нет старого закона, охраняющего меня от нового! И нет судьи или адвоката, который бы мог защитить меня от этого! Потому что и судья, и адвокат, и прокурор, и следователь, и конвоир, и "народный заседатель" — каждый из них стоит не на страже закона, а на страже человека, соединившего в одном лице суд, закон и власть...

Какой-то американский президент сказал: "Лучше умереть, чем жить в стране, в которой правят не законы, а люди". Я тоже так думаю. Но только я не хочу умирать.

Наверное, какой-нибудь западный обыватель, избалованный своим правом выбирать и потреблять, воскликнет в сердцах: "Бог ты мой! Если эти русские так живут, то почему они терпят? Взяли бы да изменили такое общество! Ведь их двести пятьдесят миллионов!"

"Дурачок, — скажу я такому, — ты ничего не понимаешь. Это невозможно в государстве с перевернутым порядком вещей. Однажды, — скажу я ему, — у знаменитого режиссера и художника Н. П. Акимова, ныне покойного, спросили:

— Николай Павлович! Ведь вы талантливый человек! Почему вы не поставите в вашем театре по-настоящему хорошую пьесу?

Он ответил:

— А кто мне разрешит поставить такую пьесу? Как можно хорошо работать в стране, где кадры подбираются методом обратного естественного отбора?

Вдумайтесь, — скажу я, — вдумайтесь! "Обратный естественный отбор"! Все, что должно отмереть, — руко-

водит! Все, что, по всем законам эволюции, мертво, — живо! Все, что несет в себе жизнь, — мертво! Вдумайтесь, вдумайтесь...".

Надо уходить! Так было во все времена. Были исходы. Люди уходили за счастьем и от несчастья. Уходили с надеждой и отчаянием. В поисках обетованной земли и в поисках утраченного времени. Грядет новый исход из России — в поисках потерянной Родины. Исход из страны, где интеллигенция приравнена к евреям, евреи приравнены к крестьянам, крестьяне приравнены к рабочим, рабочие приравнены к рабам, рабы приравнены к заключенным, заключенные приравнены к животным, а животные приравнены к людям! Мы все равны! И если это то равенством котором мечтали лучшие умы человечества, — увольте, я не хочу участвовать в таком равенстве! Меня от него рвет! Я хочу простого порядка вещей, когда все мы равны перед законом: и мореплаватель, и плотник, и кузнец, и жнец, и на дуде игрец! Я не хочу с тоской ждать завтрашнего дня — дня длинных ножей и атомных войн между двумя щупальцами одного осьминога.

Надо уходить! И если кто-то скажет, что это дезертирство, я ему отвечу, что это — побег из тюрьмы!

Вот почему мне кажется, что вы недостаточно показали страну "по ту сторону колючей проволоки". А впрочем, вы ведь не публицист, не политик, а? Вы просто "рисовали жизнь", а? Ничего, это тоже нужно.

Думается только, что, когда вы поймете все, и сказанное, и невысказанное, — вы тоже уйдете. Да? Нет? Как меня зовут? Зовите меня просто Яша.



Нина ВОРОНЕЛЬ

АПРЕЛЬСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО

Мой апрель притворялся покладистым.
 Весь в цветах выползал из травы,
 Но стрелки в бородачах окладистых
 Встали в башнях его смотровых.
 Притворялся он другом в ошейнике,
 Псом доверчивым на поводке,
 Но при этом приклады ружейные
 Пристывали к холодной щеке.
 И, прикинувшись шелковой ниткою,
 Он ужом за иголкой вился,
 Но тарацились жерла зенитные
 В голубые его небеса.
 Он хотел быть сердечным поверенным,
 Он при всех мне колени лизал,
 Только я обреченно не верила
 Ни признаньям его, ни слезам.

Я предвидела, как это будет,
 Завереньям его вопреки,
 Как за окнами грянут орудия
 И ударят из башен стрелки.
 Как, задохшись в угаре кровавом
 И сминая цветы на ходу,
 Пробегу я по выжженным травам
 И на желтый песок упаду!

ЮБИЛЕЙ В ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ

Шел чинный вечер в тронном зале, —
 Поэт стоял на пьедестале,
 Поэта чествовали те,
 Что чести сызмальства не знали.
 Поэт стоял на высоте,
 Вздымался на почетном месте,
 Как бы распятый на кресте
 Гвоздями почестей и лести.
 Поэт стоял на пьедестале,
 Поэта вовсе не пытали,
 Как показалось мне вначале, —
 Поэта славою венчали,
 Которую творили там же
 И разносили по рядам
 Хлыщам в сертификатной замше
 И скопищу замшелых дам.
 Поэт стоял на пьедестале,
 Поэта вовсе не пытали, —
 Его в заоблачные дали
 Несло фортуны колесо,
 И ветры лести обвевали
 Его калмыцкое лицо.

Поэт стоял на пьедестале,
 А с кафедры стихи читали,
 Которые из года в год,
 Писал поэт про свой народ
 В оправе лучших переводов,
 Как будто не был никогда
 Без следствия и без суда
 Он изгнан из семьи народов.

Сейчас он мог бы крикнуть вслух
 Толпе наемников и слуг,
 Что был он сослан, а не признан,
 Что по нему прошелся плуг,
 Что он не человек, а призрак,
 Что на судьбе его клеймо,
 Что здесь не юбилей, а тризна,
 И что стихи его — дерьмо.
 Он мог бы крикнуть это вслух,
 Но зал был слеп,
 Но зал был глух:
 Плелись интриги и альянсы,
 Плелись лавровые венки,
 Читали письма иностранцы,
 И нежились в объятых шлюх
 Старообразные юнцы
 И молодящиеся старцы;
 Менялись выставки в фойе,
 Предполагались в холле танцы,
 В буфете — крабы и филе.

И он смолчал: он много лет
 Считал, что в правде смысла нет,
 Он знал, как трудно быть поэтом,
 Храня в кармане партбилет.
 Не дорожил он партбилетом,
 Но он привык уже к наветам
 И славословию газет,
 К своим незримым эполетам,

К американским сигаретам,
К удобным импортным штиблетам
И к плеску славы у штиблет.

Он позабыл, что был поэтом:
Давно он умер как поэт.

ПОСЛЕ КИНО

Стреляют стулья, в зале свет зажжен,
И, как положено, в конце картины
Сплоченные ряды мужей и жен
Расходятся в уютные квартиры.

Ах, удержать бы мир обетованный,
Не возвращаться в наболевший быт!
Еще: "Ты помнишь, как она из ванны?"
Уже: "В аптеку завтра не забыть!"

Пригнуться — чтоб не сразу навалилось,
Чтобы продлить смещение времен!
Еще: "А он-то сходу: ваша милость!"
Уже: "Ботинки отнеси в ремонт".

Экран еще хранит следы ковбоев,
А зал уже в заботы погружен,
И тягостно бредут под их конвоем
Сплоченные ряды мужей и жен.

А в небе некто, мудрый и высокий,
Зажег советы для лихих годин:
"Храните ваши деньги", "Пейте соки...",
"Звоните о пожаре "Ноль-один".

x x
 x

Меня пугает власть моя над миром,
Над разными людьми и над вещами, —
Не я, конечно, шар земной вращаю
И управляю войнами и миром,
Но есть во мне таинственная сила,
Исполненная прихотей и каверз,
Чтоб на паркетах люди спотыкались,
Чтоб на шоссе машины заносило,
Чтоб, кувыркаясь, вспыхивали ИЛЫ,
Чтоб верные мужья с пути сбивались,
Чтоб мысли невозможные сбывались, —
И я остерегаюсь этой силы.

Но будет день, я знаю: будет день,
Когда свободу я себе позволю,
Когда я духа выпущу на волю,
И овладею судьбами людей.

Да, будет день: дома сорвутся с мест
И площади прикинута морями
И души, овладевшие мирами,
Постигнут смысл предчувствий и примет.

И в этот день прервется связь времен,
И сдвинутся понятия и числа.
Я так боюсь, что этот день случится,
Я так боюсь, что не случится он!

Давид АВИДАН

МОЛИТВА ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

(Отрывок из поэмы "Десять передач с борта разведспутника")

ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ ГОСПОДИ ТЫ ЗНАЛ
 что мы не знаем ни столько и ни пол-столька
 СОТВОРИ ДЛЯ НАС ЧУДО ТЕПЕРЬ ЧТОБЫ МЫ УЗНАЛИ ВСЕ
 ЧТО ТЫ ЗНАЛ
 все что Ты узнаешь все что Ты помыслишь все что Ты
 почувствуешь
 сделай для нас чудо теперь чтобы мы смогли делать чудеса
 ДЛЯ НАС САМИХ И ДЛЯ-РАДИ ДРУГИХ И ДЛЯ ГОСПОДА
 БОГА НАШЕГО
 и не ограничивай Господи Боже наш возможности наши
 больше чем Ты ограничил возможности твои
 и дай нам наш маленький мир
 который мы сотворим в шесть дней и не будем отдыхать
 в день седьмой более чем седьмую часть дня
 И НЕ ЖАЛЕЙ НАС ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ
 желей малых и глупых
 желей народы и страны
 и дай нам силы быть самими собой

ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ ВЕДЬ ТЫ ВЕДАЛ
 Господи Боже наш ведь ты слышал
 Господи Боже наш ВЕДЬ ТЫ ЭТО ТЫ
 и Господи Боже наш он Господи Боже наш
 А потому дай нам силу чтобы не уступать
 и не возбуждать жалости когда нет необходимости
 и даже когда необходимость потому что нету Господи
 необходимости
 ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ ВЕДЬ ЭТО ТЫ ЖАЛЕЮЩИЙ
 Господи Боже наш но ведь не Ты ЖАЛЕЕМЫЙ
 Дай нам сердце крепкое и рассудок открытый
 и не думай о нас более чем следует
 Благословен ты Господи человекотворец
 Не заснет не задремлет Воинств Господь
 Благословен Ты Господь бодрствующий навсегда
 Благословен Ты Господи сотворивший человека по образу своему
 Благословен Ты ГОСПОДИ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ В
 БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
 и да будут благословенны уста благословляющего И скажем
 Аминь

Перевел с иврита С. Гринберг

Далия РАВИКОВИЧ

ГОРДОСТЬ

Даже скалы разламываются, —я скажу тебе.
 И это бывает не от старости.
 Долгие годы они возлегают на спинах в холод и в зной.
 Столь долгие годы,
 что создается ощущение почти что полного покоя.
 Они не сдвигаются со своих мест, чтобы скрыть расщелины.
 Это от гордости, должно быть.
 Долгие годы проходят в виденьях предстоящего.
 Будущий их разрушитель
 еще не явился.

И тогда прорастут кустарники. Водоросли взбурлят. Море
прихлынет и отпрянет.
Но кажется, что они неподвижны.
До поры, когда маленькая морская собака придет потереться
о скалы.
Придет и уйдет.
И вдруг — камень ранен.
Я ведь сказала тебе, — когда скалы разламываются, это бывает
внезапно.
Тем более люди.

Перевел с иврита С. Гринберг

1.

НА ОТЪЕЗД АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА.

Уезжают из России поэты,
Потому что наступила пора.
Видно, старая их песенка спета,
А у новой — ни кола ни двора.

Здесь — российская тоска и отрада:
Спас на Кручах, на Песках, на Крови...
Разве много после этого надо?
Хочешь — мучайся, а хочешь — живи.

Так и строятся ряды наших строчек.
С тем и катимся потом под откос.
Одиночество — уют одиночек.
Никому не разделить наших слез.

Никому не удержать расставанья,
 Налетевшего, как ветер в степи...
 Пусть друг к другу поспешат на свиданье
 Не написанные нами стихи.

2.

ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ В АМЕРИКУ.

С той поры не знаю, сколько
 Утекло воды...
 Океан.
 Как от Нью-Йорка
 До Караганды.
 От привета до ответа
 И от нас до вас —
 Все равно, что до рассвета
 (Не смыкая глаз),
 Все равно, что до отбоя
 (По утрам в тюрьме), —
 Столько было до конвоя
 Арестанту мне.
 То ли тяжкие вериги,
 То ли западня —
 Недописанные книги
 Держат здесь меня.
 И не чувствую в себе я
 Легкости и сил
 Упорхнуть, как в эмпиреи,
 В край, где я не жил,
 Где не жал я и не сеял.
 Где по той вине
 Мать и мачеха Расея
 Будет сниться мне.
 Вот и все.

Господь спасенье
 Даст или не даст?
 От вопроса до решенья
 Дальше, чем до вас...

3.

РУССКАЯ ОТТЕПЕЛЬ.

Великолепный
 Весенний день
 Посреди зимы.
 — Какое солнце! Какое небо!
 Твердили мы.
 Блестят проталины
 Зеркалами...
 Но каждый знал:
 Похолодеет
 Над головами
 Голубизна.
 И все, что начало
 В мире таять
 С таким трудом.
 Вдруг станет
 Холодом,
 Станет инеем,
 Станет льдом.
 И вот — все кончено.
 Все, как надо.
 Весна не в счет.
 Лед на околицах,
 Лед на улицах.
 Всюду лед...

4.

Сквозь прозрачные, зеленые просветы
 Самой первой, самой солнечной листы —
 Купола, как облака,
 И против ветра
 Золочеными ковчегами кресты...
 Все плывет не очень медленно,
 Не быстро, —
 Но куда-то нужно девушкам успеть...
 Они легкие и нежные,
 Как листья.
 Не успевшие на солнце огрубеть.
 Пробежали, словно ветер по вершинам,
 И исчезли, словно шорох прошумев...
 Были не были,
 Гршили не гршили —
 Все утонет, точно в тине,
 В тишине...
 И увидел я
 Кресты над изголовьем,
 И кресты, что над вершинами плывут,
 Не ошибкою,
 А сказочным присловьем:
 Где-то люди жили-были
 И живут...
 Это все легко, как птица,
 И родится
 Где-то рядом
 Прозвенеть — и умереть.
 И не может это вечное отлиться
 В нашу мерную, натруженную медь...

А кресты над куполами
 Близко к облаку.
 Словно к берегу...
 Зачем она нужна —
 Жизнь без радости, без тела и без облика?
 "Под плитою сей"
 Давно не спит княжна...
 Все расстались.
 Все распалось и растаяло.
 Все — как луч.
 И словно след луча,
 Жизнь одно словечко нам оставила,
 Черное, как семечко:
 "НИЧЬЯ".



ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Интервью с исследователем в области социологии и футурологии Иерусалимского университета доктором Зеевом Кацом.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖУРНАЛА
"ВРЕМЯ И МЫ"

Мы так озабочены проблемами сегодняшними, мы так спешим в нашей бурной и суетной жизни, что, кажется, уже не остается времени остановиться и задуматься, а каким будет наш завтрашний день? И если мы скажем, что уже в не столь далеком будущем такие привычные заботы, как экономическое благополучие, или бизнес, или стремление к богатству, могут отойти к области архаизмов и на их место придет совершенно новая система ценностей, то, сделав такое допущение, мы явно рискуем

быть отнесенными в глазах читателя к разряду мечтателей и утопистов. Между тем мы коснулись всего лишь одной из проблем, связанных с завтрашним днем человечества. По мнению ряда исследователей, мир стоит на пороге вступления в новую фазу своей истории — в постиндустриальное общество, которое сегодня становится предметом изучения футурологических центров, институтов, комиссий 2000 года. Что же будет представлять собой это общество и, в частности, как отразится постиндустриальный век на положении мирового еврейства? Все это и стало темой нашего интервью с известным исследователем в области социологии и футурологии д-ром Зеевом Кацом.

НОВЫЙ ЭТАП ИСТОРИИ

— Итак, вначале, господин Кац, несколько слов об обществе будущего. Каким представляется оно современной науке хотя бы в общих чертах и какое, в частности, содержание вкладывается в понятие "постиндустриальное общество"?

— Как мы знаем, в диамате и истмате, опирающихся на вульгарную социологию, человеческая история определяется развитием производительных сил и производственных отношений. Отсюда — первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический строй. Марксизм упрямо игнорирует факт, что предложенная им еще в девятнадцатом веке концепция отстала от уровня накопленной информации.

Опираясь на эту информацию, западная социология исходит из совершенно иной периодизации и знает два этапа исторического развития.

Первый этап — это так называемое традиционное общество, когда население живет в основном за счет зем-

леделия и человек занят лишь тем, чтобы из земли добыть все необходимое.

Второй этап, связанный с новейшей историей,— это индустриальное общество, в котором лишь 5-10 процентов населения работает на земле, а громаднейшее его большинство переходит от сельского хозяйства к индустрии. Если в традиционном обществе самая большая ценность — земля, то в индустриальном обществе — это прежде всего технология и технологические знания.

Но вот после Второй мировой войны ряд высокоразвитых стран вступил в эпоху постиндустриальной революции. Она открывает новый этап истории, когда небольшая часть населения при помощи высокоразвитой автоматизированной и компьютеризированной индустрии производит все материальные ценности, необходимые людям.

Все, за что в прошлом боролись люди, отныне существует как заданное. Главной целью постиндустриального общества становится сам человек, его мысль, его идеи, его духовное саморазвитие. Но ведь трудно представить человека, который в один прекрасный день перестанет думать о своем экономическом благополучии, о своем престиже в обществе, о превосходстве собственного "я" над иными членами общества — словом, перестанет стремиться к идеалам, остававшимся незыблемыми в течение тысячелетий. Поэтому человечество встанет перед необходимостью пересмотреть всю систему ценностей. На смену религиям, теряющим свое первенствующее значение по мере развития технологии и рационализма, должны прийти новые идеалы. Человек должен думать над тем, для чего мы живем, во что мы верим. По-видимому, превыше всего с этого времени станет развитие способностей и талантов человеческой личности. Например, специалисты по использованию мозга утверждают, что его сегодняшний КПД не превышает нескольких процентов. Ребенок с трех до восьми лет может в совершенстве изучить два-три иностранных языка. Между тем мы начинаем учить его языкам

лишь с девяти до двенадцати лет, когда его максимальные возможности уже упущены. Похоже, что вся система нашего образования напоминает некую повозку, которую изо всех сил мы пытаемся тянуть вспять, вместо того, чтобы на гигантских скоростях устремиться вперед.

"КАРМАНЫ" ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

- Вы знаете, все-таки меня не покидает ощущение, что во всем этом содержатся элементы утопии. В самом деле, насколько реально сегодня наступление жизни, которая веками лишь существовала в мечтах человечества?

— Если мы хотим остаться корректными в наших суждениях, то не можем сказать, что это произойдет в таких-то годах или в таком-то десятилетии и люди, сменив, словно обветшалую одежду, исторически сложившиеся условия жизни, получат возможность заявить: "Отныне мы живем в постиндустриальном обществе!" История не знает подобных метаморфоз. И когда на заре индустриального века возникли первые примитивные мануфактуры, то вряд ли кто-то из их современников мог взять на себя смелость утверждать, что уже в них заложены предпосылки современных технологических триумфов, таких, скажем, как полет человека в космос или создание искусственного мозга.

То же, по-видимому, относится и к эпохе будущего. Новая социальная структура возникает не сразу и далеко не равномерно по всей нашей планете. Она развивается из определенных очагов, или, как их принято называть, "карманов" постиндустриального общества.

— Но если это так, то, может быть, Вы охарактеризуете эти "очаги"? Существуют ли они во многих или, скажем, только в единичных странах, таких, как Соединенные Штаты Америки?

— "Карманы" постиндустриального развития не есть

только понятие географическое. (В таких-то странах они существуют, в таких-то — нет!). Прежде всего мы имеем тут дело с категориями социально-нравственными. Так, например, важнейший индикатор постиндустриального общества специалисты видят в социально-профессиональной структуре населения. Там, где очень незначительный процент населения составляют заводские рабочие и фермеры, а громаднейшее большинство занято исследованиями, наукой и образованием, где вместо фабричных труб, силосных башен и элеваторов вы видите здания университетов, исследовательских фирм и институтов, вы можете наблюдать "живые" очаги постиндустриального общества. Или возьмите образование молодого поколения. Там, где молодое поколение получает высшее образование как нечто само собой разумеющееся, где это становится общепринятой нормой (как когда-то обстояло с низшим образованием), — там также существуют признаки постиндустриального общества.

В этой же связи следует сказать о насыщенности новейшими средствами коммуникаций. Во многих странах Запада уже существуют научные центры, где люди не представляют своей жизни не только без телевизора и телефона, но и без телетайпа и компьютерной станции.

Если ко всему этому мы еще прибавим высокую профессионализацию населения, когда профессиональные интересы становятся первой жизненной потребностью людей, своего рода религией, и вместе с тем высокую интернационализацию профессий, когда ученый, живущий в Гарварде, в силу его профессиональных интересов, устанавливает теснейшие связи с его коллегами, живущими в Токио или Новосибирске, — то, суммируя все эти признаки, мы, вероятно, могли бы даже вычертить некую "карту" постиндустриального развития современного мира. В частности, нетрудно установить, что в определенных окрестностях Нью-Йорка, Бостона, Сан-Франциско, Принстона или Южной Англии (Оксфорд и Кембридж), в каких-то районах современной Франции, Германии или Япо-

нии возникают совершенно новые экологические единицы, основанные на развитии определенных отраслей знаний, образования, на развитии научных исследований и производстве информации.

ЕВРЕИ — ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ НАЦИЯ

— Разрешите теперь задать сразу два вопроса: во-первых, существует ли у этой проблемы этнический аспект, то есть можно ли говорить о том, в какой степени тот или иной народ включился в постиндустриальное развитие? И если этот аспект существует, то что тут можно сказать о евреях?

— Этнический аспект проблемы — это тема самостоятельная и далеко не простая. Что же касается второго вопроса, то исследования в этой области дают основания утверждать, что евреи, как никакой другой народ, уже сегодня включились в постиндустриальное развитие. Согласно статистическим данным, например, известно, что от 80 до 90 процентов евреев Соединенных Штатов за последнее десятилетие в той или иной форме получили высшее образование. Примерно аналогичное положение во Франции, Италии, Аргентине, Румынии. Дети вчерашних коммерсантов, лавочников, страховых агентов, владельцев промышленных фирм предпочитают больше не идти в бизнес, а поступают в университеты, колледжи, становятся исследователями, адвокатами, профессорами в высших учебных заведениях. То же относится к молодому поколению евреев Советского Союза. Примерно 70 процентов из них заканчивают университеты и институты, являясь наиболее образованной частью молодежи СССР.

Если мы проанализируем с этой точки зрения состав населения Израиля, то вначале, казалось бы, получим иную картину. Во-первых, потому что на первом этапе самой целью сионизма было создание страны с более нормальной социальной структурой, то есть необходимо

было иметь своих рабочих, крестьян, своих еврейских строителей, — и, во-вторых, Израиль в своем общем развитии еще не достиг уровня наиболее высокоразвитых стран мира. Но если сделать вторичный анализ, то получим картину, приближающую нас к тому, что мы видели у еврейства диаспоры.

После Шестидневной войны в стране произошла новая индустриальная революция, давшая толчок к развитию таких "постиндустриальных отраслей", как электронная индустрия и производство компьютеров. Произошла также революция в высшем образовании.

Если в начале 60-х годов у нас было примерно пятнадцать-семнадцать тысяч студентов, то теперь эта цифра выросла до семидесяти-восемидесяти тысяч. По темпам развития высшего образования, а также по количеству студентов и специалистов на определенное число населения Израиль сегодня на одном из первых мест в мире.

ПЕРСПЕКТИВЫ АЛИИ

— Не могли бы Вы теперь высказать некоторые прогнозы на будущее, в частности, прогнозы по поводу развития мирового еврейства? И снова этот вопрос хотелось бы разделить на два: во-первых, будущее еврейства диаспоры, во-вторых, будущее Израиля?

— Право же, на столь категорично поставленные вопросы непросто ответить. Ведь единственное определенное, что можно сказать о прогнозах на будущее, — это то, что будущее не прогнозируется. То, что сегодня кажется фантастическим, вполне может сбыться, а то, что представляется реальным, так и может остаться в области фантазии.

Не надо забывать, что социальная футурология находится еще в эмбриональном состоянии в противовес, скажем, футурологии технологической. Можно, например, предсказать, что в будущем в каждой семье будет свой небольшой компьютер, связанный с центральной

компьютерной станцией и позволяющий осуществлять непрерывный контакт с внешним миром или появление абонентного телевидения, дающего возможность в любое время пользоваться ста или двумястами программами. Достаточно нажать кнопку программы, чтобы в любое время получить требуемую информацию.

Если же вернуться к социальной футурологии, то мы оказываемся перед лицом особых трудностей, когда заходит речь о будущем еврейского народа, пережившего столько непредсказуемых социальных и исторических катастроф.

И все же ничто нас не освобождает от систематичного и дифференцированного мышления о будущем. Если мы научимся оценивать различные возможности развития и идентифицировать их с явлениями уже известными, то в этом случае мы сможем понять, и куда пойдет дело в будущем. Например, если бы наука имела в свое время футурологическую мысль о возможности еврейской катастрофы, которую нес с собой нацизм, то, вероятно, можно было бы что-то сделать, чтобы спасти миллионы людей.

Или возьмем проблему алии. Мы уже говорили, что молодое поколение евреев во всем мире становится все более постиндустриальным поколением. Надо также иметь в виду, что источники алии из малоразвитых стран уже более или менее исчерпаны. А это значит, что алия будущего будет прежде всего пополняться из стран, которые уже встали на путь постиндустриального развития.

Но если при этом Израиль должен стать центром, и притом духовным центром мирового еврейства, то какой Израиль может им стать — тот, который отстает по уровню развития от общин диаспоры, или тот, который вобрал в себя все самое передовое, что создано в процессе постиндустриального развития?

В нашем обществе непрестанно обсуждается вопрос, какое количество алии способна принять страна. Называются цифры 50-100 тысяч людей в год.

Раздаются призывы к переквалификации репатриантов, причем под эти призывы подводится целая "научная" база: де, мол, Израиль — страна маленькая и вовсе не нуждается в таком количестве математиков, физиков, электронщиков и чуть ли не патриотический долг этих людей изменить свои профессии на те, что более всего нужны стране. Нет нужды доказывать, какой вред алии и абсорбции может нанести подобная точка зрения, ибо исходит она не из реальных тенденций постиндустриального развития, а из узкопрагматических интересов тех или иных ведомств и, что еще хуже, из консервативной, местечковой психологии. На вопрос о возможностях Израиля в смысле приема новых репатриантов, вероятно, необходимо отвечать только так: страна сможет принять такое количество людей, какое она будет способна занять в постиндустриальной сфере, то есть в науке, в сфере производства информации, в исследованиях, в высшем образовании. А это значит, что не в призывах к отходу от интеллектуализма, а в самом научно-техническом развитии израильского общества — путь к решению проблем алии и абсорбции.

ОПАСНОСТЬ НОВОЙ КАТАСТРОФЫ

Выше мы говорили, что постиндустриальное общество несет с собой интернационализацию профессий. Научно-техническая мысль выходит за рамки национально-государственных границ, обретая общечеловеческий, как бы планетарный характер.

Рождается элита своего рода позитивных космополитов. Ученому — и это прежде всего относится к еврейским ученым — начинает казаться, что он работает на весь мир, на всю мировую цивилизацию. Он специалист по раку или создает компьютерные системы будущего, и всякие мысли о деятельности в рамках одной страны, скажем, одного только еврейского государства, кажутся ему неоправданной узостью и провинциализмом. И в то же время с развитием постиндустриального общества

такому ученому отнюдь не дают забыть, что он остается евреем. И в этом, пожалуй, один из главных парадоксов, без понимания которого мы не в состоянии прогнозировать положение еврейской диаспоры даже уже в ближайшем будущем.

Суть проблемы в том, что постиндустриальное развитие вместе с интернационализацией профессий несет с собой возникновение острее других этнических и национально-религиозных проблем, что в конце концов не скажется на положении еврейства. Если в период модернизации и эмансипации — на Западе это было в конце 18 века и первой половине 19-го, в России — в начале 20 века — евреям было разрешено выйти из галутного гетто и стать специалистами в различных сферах жизни, если в те и последующие периоды они смогли занять даже ведущие места в различных сферах индустрии и социальной жизни, то в последнее время картина заметно меняется.

Получив свободу продвижения, евреи, в силу особых исторических, социальных и генетических причин, весьма преуспели, я бы даже сказал, слишком преуспели. И вот, когда они уже выполнили свою первичную функцию — функцию пионеров в условиях широкой модернизации — и в то же время продолжают сохранять в обществе ведущее положение, все более остро встают проблемы этнической конкуренции.

Возникает вопрос: кому предстоит стать интеллектуальной элитой постиндустриального общества — евреям или населению, составляющему абсолютное этническое большинство в той или иной стране?

Вряд ли это этническое большинство согласится на то, чтобы 80 или 100 процентов евреев имели высшее образование, а остальное население отставало от них во много раз, чтобы евреи оставались руководителями ведущих научных центров в тех странах, где по численности они составляют ничтожный или сравнительно ничтожный процент.

А ведь именно так выглядит картина сегодня. Еще

каких-нибудь два десятилетия назад евреи, например, не допускались к ведущим научным постам в Массачусетском технологическом институте, традиционно считавшемся крупнейшим протестантским центром технологической мысли в Америке. Сегодня здесь едва ли не все ведущие научно-административные посты, включая должность президента Университета, занимают евреи. Еврей Исай Берлин возглавляет Британскую Королевскую академию наук. Евреи занимают ведущие места во многих университетах Франции и других стран Запада.

Итак, постиндустриальное развитие, с одной стороны, создает евреям беспрецедентное положение в современном мире, с другой — подводит их к ситуации, которая чревата самыми драматическими последствиями и может привести к новой мировой катастрофе. Та же Америка становится ареной острейших этнических, расовых и национальных трений между белыми и черными, между американцами и пуэрториканцами и конечно же между евреями и куда более многочисленными этническими группами. В одном из последних номеров американского журнала "Комментри" опубликована статья профессора Натана Глейзера "Уязвимость американского еврейства", в которой он утверждает, что федеральное правительство начинает открыто проводить политику квот и поощрения национальных меньшинств. Так вот, если уже в Америке, которая еще на заре своей истории объявила себя страной равных возможностей, начинает осуществляться такая политика, то нетрудно представить, какими трагическими последствиями может быть чревато постиндустриальное развитие в других странах Запада.

ИЗРАИЛЬ И НРАВСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА

— И наконец последний вопрос. Вы довольно подробно остановились на будущем алии и будущем еврейства диаспоры, но почти не коснулись прогнозов, касающихся

места самого государства Израиль в будущей семье народов.

— Прежде чем ответить на этот вопрос, я позволю себе высказать одно общее соображение. Дело в том, что, по мере постиндустриального развития, человечество все больше нуждается в какой-то принципиально новой модели общественного устройства, которая, основываясь на современном уровне технологического развития, позволила бы приступить к решению наиболее острых социально-нравственных проблем жизни. Посмотрим, как строится жизнедеятельность современного человека. Она как бы подразделяется на три основных цикла: "Подготовка к работе", "Работа", "Пенсия". Человек готовится к работе до 20-25 лет, потом работает, скажем, до 60 лет, затем выходит на пенсию и отдыхает. Нужна модель иного рода, когда бы вся жизнь вобрала в себя одновременно все эти циклы, то есть включала элементы саморазвития человека и подготовки к работе, участие в процессе работы, а также элементы постоянного отдыха.

С другой стороны, в индустриальном обществе — возьмем ли мы страны свободного мира или социализма — сохраняется глубокое неравенство между людьми. В любой стране люди подразделяются как бы на два поставленных в совершенно разные положения класса. Это, с одной стороны, специалисты, или, как их еще называют, профессионалы, и с другой стороны — так называемые "рабочие кони".

Водораздел проходит не по имущественному признаку, а в соответствии со способностью к интеллектуальной мыслительной работе. И начинается он очень рано. В 15-18 лет определяется будущее человека на всю жизнь. Или он идет до конца жизни работать, попадая в указанный выше разряд "рабочих коней", когда ему дают две-три недели в год так называемого отпуска, в течение

ние которого его горизонт так и не выходит за пределы его рабочего стола. Всю жизнь он остается фактически человеческой машиной. Или перед ним открывается иная альтернатива — интеллектуальной мыслительной деятельности. Общество предоставляет ему годы на получение образования, на духовное и интеллектуальное развитие. Затем он попадает в разряд элиты, получая возможность в течение всей жизни развивать свой духовный и интеллектуальный горизонт. Не ясно ли, что подобная модель вместо старых неравенств и старых форм эксплуатации создает новые формы несправедливости? Но если постиндустриальное развитие диктует необходимость создания новой социально-нравственной модели, то встает вопрос: кто эту новую модель способен создать? В этом месте мне, по-видимому, придется перестать быть социологом, и все дальнейшее, что я скажу, будет, скорее, напоминать проповедь.

Так вот, с моей точки зрения существует много предпосылок к тому, чтобы эту функцию — функцию создания новой нравственной модели — приняло на себя государство Израиль. Ведь если у еврейского народа на заре его истории и было что-то уникальное, только ему присущее, — так это его уникальная способность создавать и развивать новые концептуальные философские и социально-нравственные модели.

Именно евреями была создана стройная монотеистическая философия, связанная с представлением о едином и нематериальном Боге, что само по себе в те времена было событием неслыханного значения.

Известно, что иудаизм возник на много столетий раньше, чем другие монотеистические религии — христианство и ислам, и был по существу их морально-философской основой. В то время как другие народы руководствовались несколькими утилитарными предписаниями, у евреев был своеобразный и незыблемый социальный кодекс, согласно которому, например, утверждалось, что человек не может быть в рабстве бо-

лее шести лет, на седьмой год он неизбежно становится свободным. Земля должна делиться поровну, по числу членов семьи, и ее продажа воспрещается. Можно привести много других примеров, но все они сведутся к одному — величайшим вкладом евреев в общечеловеческое развитие было создание морально-философских норм и моделей. Так вот, возвращение евреев на свою землю, по-видимому, означает не только осуществление их национально-исторических чаяний, но и требует их возврата к своей изначальной исторической функции — функции народа, способного удовлетворить потребность человечества в какой-то новой социально-нравственной модели.

Могут спросить: возможно ли, чтобы такая небольшая и невысокоразвитая страна, как Израиль, была способна выполнить столь сложную историческую задачу? Вероятно, это выглядит как парадокс, но именно малая страна больше подходит для того, чтобы создать новую социально-нравственную модель. Когда возводятся огромная плотина или сложное технологическое сооружение, то для эксперимента строится модель малого образца. Нечто подобное мы наблюдаем и в истории. Далеко не самые крупные державы становились ареной зарождения и развития современных цивилизаций. Афины были некогда меньшей страной, чем Ассирия; древний Израиль был слабее и Ассирии, и Рима. Вначале Британия была ограниченной островной державой, в те времена, когда Россия уже имела громадные пространства и массы населения. Германия Бетховена и Гете представляла собой мелкие и разрозненные княжества. Итальянские города-государства эпохи Ренессанса были мелкими и маломощными в военно-экономическом плане. Отсюда ясно, что проложить путь человечеству к постиндустриальному обществу может и небольшой народ, но имеющий особые, исторически сложившиеся традиции и качества национального характера, особые генетические данные (тенденции к интеллектуализму, осознание своей исторической миссии и пр.).

Израиль, слышу я вновь возражения, находится в состоянии непрерывной борьбы за существование,— способен ли он в этом состоянии найти силы и духовные ресурсы для того, чтобы выработать нравственный идеал человечества?

Но, во-первых, свое влияние на духовное развитие мира евреи всегда оказывали, взаимодействуя с другими народами и культурами. Так, вероятно, будет и в будущем. С другой стороны, исторический опыт показывает, что большие человеческие цивилизации рождались отнюдь не в благоухающих парниковых условиях, но в огне борьбы, конфликтов и страданий. То же можно сказать и о будущей роли Израиля. Его бурный научно-технический рост может стать предпосылкой большой алии из СССР и высокоразвитых стран Запада. И в то же время дальнейшее развитие израильской культуры, науки, демократических основ нашего общества способно помочь выработать новую социально-нравственную модель в жизни людей.

В.Петровский

ЗЛОДЕЛЬНОЕ МАСОНСТВО СРЕДЬ ПРЕСНОГО БЫТИЯ

ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

Это письмо шло долго, через много рук и несколько стран. Оно не предназначалось для печати. Мы взяли на себя смелость предложить читателям лишь те места, которые имеют общественное звучание, опустив все личные моменты и, разумеется, имя автора. Ведь он все еще там...

Редакция.

... Как я живу? Это понятие для меня неотделимо от "зачем", а рассказать обо всем сразу трудно. Сейчас я живу на унылом тонузе. Умирает в больнице одиннадцатилетняя дочка нашей приятельницы... и усилия по доставанию всяких редких лекарств и доноров только увеличивают боль ожидания безнадежного исхода. Зачем Богу понадобилось, чтобы случилась такая судьба? Или судьба детей в той школе, которую захватили в Израиле террористы? Мне трудно обходиться без этих вопросов, которые внешне кажутся риторическими, а на самом деле — не имеют ответа, но заставляют его искать.

Уж добро бы только по загадочной воле Бога происходили смерть и страдания, так ведь нет: люди несоизмерно со своими бедами глупы. Паралич нравственного чувства приводит к тому, что всякие "умники-объективники" готовы чуть не на брудершафт пить с Ясиром Арафатом. Когда же сторонника "объективности" (из наших домодельных или западного производства) припрешь, как к стене, к его же собственной объективности и порядочности, он вяло соглашается, что да, должны ара-

бы признать Израиль, но и Израиль, со своей стороны, должен... Рассуждение получается дряблое, как тряпка, годная только на то, чтобы вытереть какому-нибудь Асаду его, невидимые миру, нацистские сапоги.

И дело не в одном Израиле! А Вьетнам? Мировая "оттепель" демонстрирует стремительное разложение этики, и еще раньше беды от экологического кризиса случится несчастье от того, что нравственная атмосфера станет вполне непригодной для дыхания. А "глобальное" * решение всех этих проблем не способствует очистке атмосферы: упор на разъединение людей по нациям, тщательно отмеряющим норму покаяния друг по отношению к другу, ничего разумного не сулит. Ты же помнишь эту статью "классика": перед венграми у русских ощущение вины должно быть меньше, чем перед чехами,— и так далее, по цепочке национальных покаяний по форме, самоутверждений по существу. Конец цепочки "классик" прячет: о евреях он молчит, зато милейший М. А. прямо пишет, что евреи занимали в 20 - 30-е годы непропорционально большое в сопоставлении с их численностью место (в общественной и политической жизни России).

Если венгры с латышами по "классику" виноваты как нации перед русскими (как нацией), то обвинение евреев — логичный шаг, которого "классик" не делает, но сделают легко по проложенной им дорожке другие.

Недавно мы тут читали письма наших общих знакомых из Израиля, я называю их парой наших "чижиков". Один из них так прямо и пишет, что нашел в Израиле как бы свою Испанию (сиречь светловско-симоновскую "Гренаду"). Вообще черты психологии тридцатых годов, в том виде, как ее представляли себе и людям поэты и писатели того времени, в значительной части — евреи, многие отмечают как нежелательное общее, что есть в Израиле и было у нас. Вот в разговоре по поводу

*Автор имеет в виду сборник "Из-под глыб". Ред.

психологической трансформации "чижиков" я и сказал, что ощущение своего участия в общем деле, ощущение смысла собственной работы в системе общих усилий, наконец, право на патриотизм, отбираемое у евреев антисемитами, — весь этот комплекс здоровых социальных эмоций приобретен парой наших "чижиков" именно в Израиле. Дальше пошел спор: приобретение это или потеря. Я думаю, что это приобретение; лично я получаю удовольствие от своей профессиональной деятельности, лишь если она имеет положительный, с моей точки зрения, социальный смысл.

Вдруг пример "чижиков" не единичен? Тогда жизнь Израиля определяется не только тем, что "жизнь для жизни нам дана". Тогда выходит, что государство — это целеполагающее, а целеполагающему государству в наше время неизбежно свойственны социалистические тенденции. Поэтому логика "изподглыбников" (в частности, Шафаревича в статье о социализме), их "глобальное" отрицание социализма как тенденции все-таки, я думаю, вряд ли может понравиться. "Свободная" "русская" мысль могла бы быть посвободней и в смысле общечеловеческом позаинтересованней, чем сейчас вышло.

Однако эта не "веховская", а "недовеховская" национал-православная тенденция у нашей эмиграции в чести. Куда же "крестьянину податься" в таких условиях, когда никакой серьезный анализ не нужен противостоящим "лагерям"? Правда, есть и на русском языке книги, где стремление понять доминирует над тенденцией одернуть, встряхнуть за шиворот и толкнуть на правильный путь. Но такие книги (например, мемуары Е. Олицкой) проходят незамеченными или их переводят на русский с английского, как книгу Иосифа Бергера "Крушение поколения".

...У нас никаких особо существенных новостей нет, разве что вышла недавно в издательстве "Молодая гвардия" книжка Н. Яковлева "1 августа 1914", в которой автор (слышно про него, что он — сын маршала авиации.

конструктора Яковлева, и почти доподлинно известно, что он же — автор статьи о Солженицыне и Сахарове "Продавшийся и простак") утверждает, что Февральская революция — зловещее дело грязных рук масонов.

Уже известно из традиционных для наиболее правых эмигрантских органов статей, намеков и обоснований, что "жидомасонство" сгубило Россию. Теперь Яковлев перерезал это слово пополам, начальную половинку спрятал в стол до лучших времен, а вторую пустил в свет через издательство Молодой гвардии рабочих и крестьян, которым, видно, легенда, дорогая поседельм теперь прапорщикам и бесноватым монархистам, именно сейчас пришлось особенно по вкусу.

Дело, разумеется, не в том, был Керенский масоном или нет. Вот и декабристы были масонами, так ведь никто не считает декабризм плодом масонства, кроме какой-то старушки из "Горя от ума", назвавшей Чацкого "фармазоном", который пьет "одно стаканом красное вино". Дело в том, что автор трактует масонство точно в стиле Нилуса с его "Протоколами сионских мудрецов": масоны — сила зловещая, расплывчатых очертаний, но могучая, а хочет — зла.

Не важно, что масоны Керенский, Некрасов и Терещенко принадлежали к разным партиям и спорили друг с другом. На фасаде — рознь для отвода глаз, в глубине — единство, монолитное, тайное, злодельное масонство...

Изобретение новых социальных сил, своего рода исторических монад, особых субстанций, которые должно включить как нечто базисное в историческое бытие, — результат вполне понятного стремления хоть чем-нибудь поперчить пресное "общественное бытие" казенного "марксизма".

Однако что же получается? — Сегодня одна половина бесноватой свихнутой мыслишки официально принята "на вооружение"; завтра примут другую ее часть: "жидо..." А уж тут жди беды — и не для одних евреев в России, ибо проблема еврейской судьбы —

это такой Гордиев узел, что если по нему рубануть, то и евреям, и рубаче плохо придется. Это как у Шварца в "Тени": отрубила Тень голову Ученому — и самой не стало. Однако если конец выпадет не счастливый и не сказочный, то никто и не воскреснет...

Без понимания русских проблем нельзя поэтому построить и мировых прогнозов. Тонкая симптоматика будущего намечается именно в Русских процессах. Кроме того, как верно писал Шафаревич, русский опыт есть средство самопознания и самоосознания Европы. Те же человеческие свойства, из-за которых некоторые сионисты мечтают видеть свой Сион похожим на страну Голландию со стабильной комнатной температурой ("...Жизнь для жизни нам дана!"), определяют индифферентность по отношению к самому Израилю и домашних, и иноземных "умников-объективников". А также определяют и их напрасные предположения, что иные русские или американские частности не окажутся росточками всеобщих бедствий. Вот именно в связи с этими рассуждениями тщательный анализ книги Яковлева немаловажен, но у меня на это нет времени, занят многим другим. Занятно, в связи с этой "антимасонской" книгой, то, что ортодоксальная советская история там передернута, на голову поставлена и какому-нибудь Минцу это видно с первых же страниц. Но ведь помалкивает академик Минц, хотя его вполне партийная концепция Первой мировой войны походя сбрасывается со счета. Видно, чуткий к духу времени академик делает это не без оснований, далеких, конечно, от науки.

Между тем названная книга издана за несколько месяцев дважды, и каждый тираж — по 100 000 экземпляров. Купить ее невозможно: это теперь бестселлер. Интеллигенты моего круга говорят о ней с веселым недоумением, но хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Похоже, если придется уезжать, то лучше всего ехать именно в Израиль. Потому что не чувствовать себя эмигрантом, если такое вообще возможно, действительно можно только в Израиле.



МАРТИН БУБЕР И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Мартин Мордехай Бубер родился в Вене в 1878 году, умер в 1965 году в Иерусалиме.

Если не говорить о еврейских мудрецах, всегда оставшихся внутри традиции, Бубер является, пожалуй, фигурой, беспрецедентной по многогранности интересов, творческой мощи и чистоте устремлений. Если окинуть взглядом все творчество этого человека, который с юности и до преклонного возраста был деятельным исследователем и писателем, учителем и проповедником, трудно ответить на вопрос: кем именно он был.

Мартин Бубер — еврейский религиозный философ, выдающийся переводчик Танаха, гуманист, филолог, социолог, педагог, психолог, поэт и литератор, исследователь хасидизма, исследователь соотношения иудаизма и христианства, исследователь социализма, просветитель, оратор, идеолог духовного сионизма, — перечень, достойный гиганта. В каждой из областей, куда проникал его гений, Бубер сказал свое уникальное слово.

Бубер-философ создал учение о диалоге, несомненно являющееся главным достижением религиозного экзистенциализма в философии. Книга "Я и Ты", посвященная "Я-Ты диалогу" и "Встрече", получила признание как "равное коперниковскому деяние современной мысли" (Карл Хайм). Влияние этого аспекта наследия Бубера на европейскую философию и теологию весьма значительно и имеет большое будущее. (См. "Я и Ты", 1923; "Вопрос к одинокому", 1936; "Проблемы человека", 1943; "Основы межчеловеческого", 1953).

Бубер открыл Западу, то есть в первую очередь западному ассимилированному еврейству, хасидизм как форму еврейского благочестия. Одна из великих исторических реализаций Израиля Бубер видит в хасидской общине периода расцвета, в той общине, где жила "высокая вера первых хасидов, которые почитали в цадики совершенного человека, в ком бессмертное нашло свое смертное воплощение". Вспоминая одну из картин своего детства, Бубер говорит: "Здесь было несравненное; здесь было униженное, но не поврежденное двойное ядро рода человеческого: истинная община и истинное руководство. Древнейшее было здесь и изначально предстоящее, утраченное и страстно ожидаемое, и возвращающееся... Когда я видел ребе, как он шагает сквозь ряды ожидающих, я ощущал: "Вождь!" — а когда я видел хасидов, танцующих с Торой, я ощущал: "Община!" Тогда у меня возникала мысль, что совместное веселие души суть основы истинной человеческой общности". "... Изначально еврейское открылось мне: богоподобие человека, понимаемое как деяние, становление и задание... Иудаизм как вера, как благочестие, как "хасидство", — открылся мне. Я постиг идею совершенного человека. И тут же я почувствовал себя обязанным сообщить миру эту идею".

Деятельность Бубера по собиранию, переводу, интерпретации и изданию текстов из сокровищницы хасидизма не была просто работой кабинетного ученого. Она сопровождалась глубокими религиозными переживаниями.

ми. О своей связи с наследием хасидизма Бубер сказал: "Я несу в себе дух и кровь тех, кто создавал его, и из крови и духа оно обновилось во мне".

В совместной жизни хасидской общины Бубер видел образец общности людей. Эта общность проявлялась не как хоровое пение в унисон, она утверждала себя как беседа между Я и Ты. Эта реальность, которой жили и которой нужно жить, включает в себя или, вернее, включена в "Ты" Б-га. Таким образом, буберовское прозрение диалогического отношения Я — Ты между человеком и человеком и между человеком и Б-гом созрело, когда он был погружен в мир хасидизма; оно является в конечном счете творческой философской интерпретацией некоторых аспектов хасидизма и Каббалы.

Коснемся лишь еще одной стороны деятельности Бубера — его сионизма. После разрыва с Теодором Герцлем, на одном из Базельских конгрессов, Бубер сказал: "Сионизм — это нечто иное, чем еврейский национализм... Словом "сионизм" с давних пор называется нечто, что должно возникнуть в географически определенном месте; выражаясь словами Танаха: начало царства Б-га на земле". В книге "Израиль и Палестина" (1950) Бубер говорит, что "вера Израиля — историческая вера, вера в Б-га, который привел в эту страну сначала отцов, потом народ. Здесь нет нации как таковой, а именно народ, для которого события его исторического пути — это деяния его Б-га. Так живет изначально единственная в своем роде связь этого народа с этой страной — как знак того, что должно быть, что должно стать и воплотиться. Этого воплощения не могут достичь ни народ без страны, ни страна без народа; только прочное объединение обоих ведет к нему".

До конца своей жизни Бубер остался верен тому, что в начале века высказал Герцлю: заселение Палестины и создание еврейского государства ни в коем случае не должно стать самоцелью; возрождение и становление еврейского народа как отклик на призыв пророков преобразиться и исполнить Завет, воплощение царства

Б-га, — вот наша цель. Без осознания этого, без духовного обновления всего народа государство останется телом без души.

"Сион означает судьбу взаимного совершенствования. Это не калькуляция, а повеление; не идея, а сокрытый облик, который ждет своего раскрытия...". "... Если Израиль сведет сионизм к "еврейской общине в Палестине" или попытается стать небольшой нацией, подобно другим небольшим народам, то это окончится ничем". ("Израиль и Палестина")

Все многообразие буберовского наследия, все аспекты его пути мыслителя, человека, еврея проникнуты поразительным внутренним единством.

Однако в чем состоит суть этого наследия?

Кем же все-таки был Мартин Бубер по своей сущности?

Он был евреем на пути возвращения в Сион, евреем, который до последнего вздоха был в пути сам и который вдохновлял и приводил на этот путь многих. Его наследие обращено к нам, оно продолжает и будет продолжать дело его жизни. Оно побуждает и пробуждает.

Мартин Мордехай Бубер был сионистом Сиона.

х х х

Еще находясь в России, я разделял многие воззрения Бубера. Полностью принимая буберовскую концепцию духовного сионизма, я считал Мартина Бубера дарованным нам свыше идеологом обновления еврейства, а его наследие — хлебом насущным и духовным руководством для тех представителей ассимилированного русского еврейства, для которых внутренняя жизнь определяет их поведение. В моих глазах кредо Теодора Герцля, сыграв свою историческую роль, поблекло и потеряло свое значение после создания Государства. Только идеи Бубера, ассимилированного европейского еврея, шедшего по пути собственного обновления, могут стать

фундаментом для объединения нашего народа — его ассимилированной и его традиционной частей. Его наследие — мост, который может их соединить, привести к единству. Но это мост, по которому должно пройти именно ассимилированное еврейство, чтобы вернуться к источнику и обновиться. Во всяком случае, та его часть, для которой уже невнятен, без европейской интерпретации, священный язык Торы.

В 1970 году у меня созрел замысел: перевести основные произведения Бубера на русский язык и распространить их в еврейском Самиздате. Этот замысел был осуществлен мною в течение двух лет. Мне удалось организовать группу переводчиков (большая часть их до сих пор находится в России), которые, как правило, не знали друг друга. Сам я перевел некоторые работы Бубера и отредактировал остальные переводы, добиваясь аутентичности и сообщив им единство стиля и терминологии. Процесс печатания и распространения в Самиздате мне удалось завершить к середине 1973 года. Тираж первого издания основных сочинений Бубера в СССР колеблется в пределах от 20 до 100 экземпляров.

Издание включает в себя четыре беседы о сущности еврейства (1906—1919), статьи, написанные Бубером в промежутке между 1929-1958 гг. ("Почему нам следует изучать еврейское наследие", "Как нам быть с десятью заповедями?", "Еврейский гуманизм", "Израиль и веление духа", "Миссия Израиля и Сион", "Национальные боги и Б-г Израиля"). Однако главным достижением является издание таких книг Бубера, как "Я и Ты" (учение о диалоге, редакция 1957 года), "Тропа в утопию" (анализ социализма от Сен-Симона до Сталина и израильского кибуца, 1950), "Путь человека согласно учению хасидизма" (1950), "Два типа веры" (иудаизм и христианство, 1950), последняя книга Бубера, изданная в 1965 году, в год его смерти, — философская антропология "Познание человека"; и наконец, "Биография Бубера" Герхарда Вера и ряд статей о творчестве Бубера, написанных европейскими и американскими филосо-

фами. Издание занимает около пятисот страниц машинописного текста.

Итак, Бубера читают в СССР. Во время обысков, прошедших в Москве в декабре 1975 года на квартирах евреев, борющихся за алию, были изъяты его произведения в переводе на русский язык. На одном из недавних семинаров у проф. М. Азбея в Москве, раввин из Лос-Анджелеса прочитал лекцию на тему: "Я и Ты" Мартина Бубера".

Здесь, в нашем сионистском демократическом государстве, мне пока не удалось переиздать российское издание сочинений Бубера, которое я в единственном экземпляре и не без трудностей переправил в Израиль.

Но если в Израиле Бубер почти предан забвению, то во всем мире он получил бесспорное признание как один из ведущих мыслителей XX века.

Статья Бубера "Национальные боги и Б-г Израиля" будет первой работой из самиздатовского собрания, опубликованной в Израиле.

Натан Файнгольд

Иерусалим, 5736 год

МАРТИН БУБЕР 1941г.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БОГИ И БОГ ИЗРАИЛЯ

Нахман Крохмаль (1785-1840), основоположник философии еврейской истории, следовал за Джаиамбатиста Вико (1668-1744), который во многих отношениях является отцом современной историософии.

Среди прочего Вико разделил всемирную историю на историю народов и историю Израиля — на том основании, что первой и второй управляют разные законы. Вико выводил критерий для такого разделения из двусторонней природы Божественного Провидения. Оно

открывает себя народам, создавая их, так что течение их истории предопределяется дарованными им талантами и качествами. Израилю же Божественное Провидение даровало свое непосредственное откровение, так что единственная в своем роде история Израиля должна быть понята с точки зрения Божественного вмешательства в нее.

Однако Крохмаль основывал свою теорию не на Боге, а на человеке. Каждый народ обладает ведущим духовным качеством, которому подчинены все прочие его способности, — своим гением, — в котором народ видит своего "князя" или своего "бога". Национальный дух расцветает, созревает и увядает. То же, что определяет и ограничивает национальный дух, придает ему преходящий характер. Но это не касается Израиля. Израиль начинает целостное, нераздельное духовное бытие, и поэтому сопротивляется и подымается после каждого падения, как бы обретая новую силу. Народы творят идолов из своих высших способностей и таким образом вынуждены покориться суду истории. Израиль знает только одного Бога, Вечного, и оттого ему открыта тайна возрождения.

Другими словами: каждый народ возводит собственное "я" в абсолют и поклоняется себе самому. Израиль обладает опытом абсолюта, который не тождествен ему самому и которым он никогда не сможет стать, — и почитает этот абсолют как таковой. Или еще иначе: народы переживают абсолютное только через то, чем они являются; Израиль может переживать абсолют только тогда и потому, что этот абсолют встречает его лицом к лицу.

Далее: быть ограниченным самим собой — значит быть приговоренным к смерти; жить ради безграничного — значит освободиться от смерти. Самообоготворение народа тесно связано с его смертью. Когда национальный дух деградирует и распадается и нация обращает свое лицо к ничтожному, а не к существованию, которое включено в целое и выявляет абсолют, тогда нация оказывается на пороге смерти.

Прямое почитание абсолюта без посредствующих звеньев — таков источник неумирающей жизни Израиля. Это отделяет его историю от истории других народов. Они завершают путь, предназначенный им во времени, но Израилю даруются все новые пути и обновленные силы при условии, что его вера устояла и не нарушена его связь с абсолютом. Таким образом, история Израиля содержит начало — не просто дополняющее, но также исправляющее историю народов.

Крохмаль взял великую идею из сокровищницы еврейской традиции и очертил ее концептуально, но он не сделал из нее всех возможных, далеко идущих выводов, необходимых для понимания нашей истории и наших задач.

У ряда народов — у китайцев, евреев, греков — одинокие мыслители приходили к идее абсолюта как такового, в его предельной метафизической чистоте, но на реальную жизнь их народа эти мысли не оказывали влияния. Почитание абсолюта может стать жизненным принципом народа только тогда, когда сам народ его практикует, притом не в сфере абстрактного мышления, а в действительной жизни. Почитание народом абсолюта означает не метафизические размышления, а религиозные события.

Крохмаль не останавливается на этом различии, так как он, будучи интеллектуалом, удовлетворяется интеллектуальным актом, — но, если бы этого было достаточно, мы могли бы в своем воображении заменить народ на Синае одним Моисеем, который переносит плоды своих созерцаний в Писание. Но такое представление — неадекватная основа для разделения всемирной истории на две части. Израиль, в отличие от других наций, не возвел себя самого в ранг абсолюта именно потому, что в самом истоке своей истории он, как единый народ, получил опыт Божественного. В этом заключается самая глубокая историческая проблема нашего народа.

С одной стороны, наша задача — не допускать, чтобы наша природа ограничивала нас в нашем отношении

к абсолюту, а с другой — наш долг поддерживать органический и национальный характер этого отношения и не допустить, чтобы живое Божество в нашей среде превратилось в возвышенную идею.

В наше время в секуляризованной форме продолжается борьба между национализмом, который отрицает дух народа, и ассимиляцией, которая отрицает тело народа. Преодоление этой дилеммы — быть может, труднейшая из задач, стоявших когда-либо перед человеческой общностью.

Справедливо, что почитание абсолюта без обращения к посредствующим лицам или идеям — источник вечной жизни Израиля. Но мы, вплоть до наших дней, еще не научились почитать абсолюта через наше подлинное существование. Эта задача сама по себе есть То, что сохранило нас до настоящего времени — не ее разрешение, а сама задача, которая пылает в нашей крови подобно пламени и не умрет никогда.

Крохмаль неустанно повторяет, что наше призвание — учить народы, учить их поклоняться абсолюту как таковому, а не абсолютизировать национальные свойства. И это правда: мы должны учить этому. Но как мы можем учить тому, чему еще сами не научились? У народа есть только одно средство указать на истинного Бога — это жизнь, протекающая в согласии с его волей.

До сих пор нашего существования хватало лишь на то, чтобы сотрясать троны идолов, но не на то, чтобы воздвигать трон Господень. Именно в силу этого наше существование среди народов столь таинственно. Мы претендуем на то, чтобы научить абсолюту, но в действительности мы лишь говорим "нет" другим народам, или, пожалуй, мы сами являем собою такое отрицание и ничего больше. Вот почему мы стали кошмаром наций. Вот почему каждая нация одержима желанием отделаться от нас во времена, когда стремится возвести в абсолюта себя самое — и не только внутренне (как это было с незапамятных времен), но и в практическом порядке. Вот почему вплоть до сегодняшнего дня нам не позво-

лено воспарить над бездной и указать путь к спасению, а нас засасывает водоворот жалкой обыденности.

Если каждый народ имеет в лице абсолютизированного национального качества своего "князя", с точки зрения мировой истории встает вопрос: признают ли и до какой степени эти "цари" — выражаясь мифологически — "Царя царей" над собой. Или проще: в какой степени нации признают и терпят общий и безусловный верховный авторитет. С этой точки зрения следует подойти к христианству как к проблеме мировой истории.

Христианство пришло к народам Запада из духовного мира, в котором элементы, уцелевшие от распавшихся великих религий Малой Азии и как бы свободно парившие, сочетались с религиозной традицией и опытом еврейского народа. Этот синтез так всесторонне преобразовал еврейское вероучение, что оно получило возможность достигнуть других народов и проникнуть в них в качестве евангелия; религиозная задача самого народа, однако, не присутствовала в этом процессе. Даже когда нации одна за другой целиком обращались в христианство, — не нации как таковые, а индивидуумы вступали в "спасенный" мир, который был преддверием чего-то, в будущем крайне далекого от идеи национальности. Это устраняло задачу, поставленную перед народом Израиля, которая состояла в том, чтобы сделать мир царством Божиим. Она была замещена христианским видоизменением движущих сил и событий истории, то есть концепцией священной империи; и, хотя это снова и снова соотносилось с задачей Израиля, в действительности религиозные лозунги прикрывали провозглашение автономии "царей".

Но такая автономия была связана с авторитетом церкви, стоящей вне и над нациями. Эта связь не была четко определена. Папы стремились усилить ее, императоры — ограничить, но, вопреки их маневрам, все еще существовал авторитет, который мог умерять и умиротворять тенденции к самопрославлению, и воля наций к господству преодолевалась духовной властью в доста-

точной мере, чтобы не позволить "князьям" стать "богами".

Даже когда церковь начала распадаться и церкви, установившиеся на территории, охваченной Реформацией, попытались войти в соглашение с местными правителями, в принципе влияние христианства, сохранившего свои жизненные силы, не исчезло. Это можно проследить в обычаях, укорененных в национальной жизни, еще с большей очевидностью, чем в сводах международного законодательства, источником которого также являлось христианство. Хотя нравственные законы относились к людям только как к индивидуумам, а не как к членам нации, и сами нации вели свою жизнь независимо от нравственного закона христианства, ярости и вражде постоянно и эффективно противостояло нечто безымянное и непреодолимое, но, несомненно, исходившее от христианства.

"Цари" могли время от времени вести себя как "боги", но снова и снова наступал час, когда им приходилось склонять свои головы перед Богом.

Если с этой точки зрения взглянуть на нашу собственную эпоху, можно охарактеризовать ее как кризис христианства, ибо начались коренные перемены. Не случайно в эту эпоху, когда техника достигла такого высокого уровня развития, что географическое расстояние между нациями уже не является серьезным препятствием для конфликтов и, более того, инструментом в таких конфликтах могут стать средства массового уничтожения, — именно в эту эпоху, которая сделала возможным такое техническое развитие, христианство как таковое, равно как и его секулярные порождения, перестало быть эффективным в качестве политического сверхнационального авторитета. Трагикомическая история так называемой Лиги наций недвусмысленно доказала, что такого авторитета больше не существует. В эту эру совершается нечто беспрецедентное: некоторые национальные эгоизмы, которые прежде сдерживались христианством, как общей и высшей правдой, освободили

себя не только от христианства, но и ото всех установленных. В их глазах правда — всего лишь функция нации, и "князь" провозглашает себя богом.

Почти за полстолетия до основания Лиги наций и через два десятка лет после выхода книги Крохмалю человек, переживавший с предельной остротой кризис христианства, модернизировал теорию национальных "князей". Это был Достоевский. В романе "Бесы", изображающем так много явлений того времени (но в духовной атмосфере, напоминающей, скорее, наш собственный век), он выразил эту теорию любопытным образом. Ее провозглашает не демонический герой романа, которому она приписывается, а его бывший ученик, который восстал против распада личности своего прежнего учителя и пытается побудить его к самоочищению и самоусовершенствованию. С этой целью он противопоставляет своему учителю теорию, которой тот когда-то придерживался. У каждой нации есть своя цель и свой собственный бог. Этот бог. — "синтетическая личность" нации, которая верит в него как в единственного истинного Бога. Каждый народ верит, что он может победить и подчинить себе всех других богов и все другие народы только с помощью своего бога, верит, что он один обладает истинной, безусловной и исключительной. Эта вера составляет силу и историческое величие нации. Народ, который утратил свою веру, — более не народ.

Все эти заявления полностью повторяют учение Крохмалю о нациях с точки зрения языческого аспекта всемирной истории. Но тут вторгается нечто очень странное. Говорящий кидается в другую сторону; автор, который вкладывает собственные слова в уста своего персонажа, должно быть, сознавал это, но, вероятно, он не отдавал себе отчета в далеко идущих следствиях из этих слов. "Поскольку есть только одна правда, — говорит бывший ученик, — только у одного народа может быть один истинный Бог".

Существует только одна правда! Достоевский, извлекая это утверждение из глубины времен, как бы проти-

вопоставляет его всему, что последовало потом, и таким образом свидетельствует в пользу Бога и против "князей". (Очевидно, эти слова — исповедание его собственной веры и в то же время выражение его собственного внутреннего конфликта.) Но его заключение, что только одна нация может иметь истинного Бога — не признавать его, не взывать к нему, а "иметь", — немедленно ставит его свидетельство под сомнение. И когда, непосредственно вслед за этим, он объявляет русский народ единственным народом, который имеет единственного истинного Бога (это также утверждалось в начале диалога, равно как и то, что русский народ "спасет мир и обновит его во имя нового Бога"), — становится до ужаса ясно, что говорящий, а возможно, и сам автор, создавший его, "шатается". И вполне убедительно, что, когда этого человека спрашивают прямо, верит ли он в Бога, он сначала бормочет, что он "верит в Россию", затем — что он "верит в тело Христово", и наконец говорит, что он "будет веровать в Бога".

Предельная жестокость автора, надо признать, не пощадившего себя, звучит в отчаянной исповеди человека, который, подобно фокуснику, на наших глазах жонглирует непоколебимым представлением об одном истинном Боге и растяжимым представлением о многих богах. (Это фокусничество, ибо, если Бог существует, тогда "боги" — всего лишь метафора, а если существуют боги, тогда метафорой становится Бог.) Достоевский определенно был искренним христианином, но я знал много таких, которые веруют в "Сына", будучи неспособными к истинной вере в Отца. В одном из набросков Достоевского к этому роману есть еще более общая формулировка. Герой спрашивает: "Возможна ли вера для цивилизованных людей?"

Однако в этой части романа есть эпизод, в котором Достоевский приближается к Крохмалю больше, чем в своих общих заявлениях, так близко, что становится возможным перекинуть мост через пропасть между этими мыслями и утверждением об избранности русского

народа. Здесь он поясняет примерами, что он имеет в виду, говоря о национальных богах.

"Греки обоготворили природу и оставили миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил государство и оставил государство современным народам". Это в точности соответствует концепции Крохмалю о "князьях", как доминирующих "духовных способностях" наций, возведенных в абсолют, и могло бы быть дословно извлечено из его книги.

Но параллельная характеристика греков и римлян предшествует заявлению, относящемуся к евреям: "Евреи жили одним лишь ожиданием пришествия истинного Бога, и они дали истинного Бога миру". Это можно истолковать только единственным образом. В то время как греки, римляне и другие народы абсолютизировали качества, которые сами по себе не абсолютны, и затем передали их людям, евреи имели в душе абсолют как таковой, истинного Бога, и этого Бога они передали миру. Именно это же полагал Крохмаль, с той разницей, что Достоевский, конечно, говорит о христианском боге. Тем не менее, представляется невероятным, чтобы Достоевский мог выдвинуть тезис Крохмалю целиком или буквально. Как бы против его воли еврейская сторона мировой истории вышла на первый план.

Кризис христианства коренится в том факте, что, хотя мы, евреи, указали истинного Бога миру, мы совершили это только в теории, а не посредством всей жизни народа. В свете этого объяснения исчезают видимые противоречия Достоевского. Он свидетельствует в нашу пользу, но против своего желания; он не сознает, что делает, и не приходит к соответствующим выводам.

.....

Но изложенными выше моментами не исчерпывается наш интерес к этой главе романа Достоевского. Герой упрекает своего бывшего ученика, что он низводит Бога до простого атрибута. "Напротив, — отвечает тот,—

я поднимаю народ до Бога". Эта реплика лишена смысла, если не соотнести ее с "одним истинным Богом". На какое-то мгновение она только обостряет противоречие между признанием "одной правды" и прославлением национальных "богов", — противоречие, которое соблазнительно было бы приписать несовершенству композиции романа, наименее законченного среди всех великих романов Достоевского. Но вскоре становится очевидным, что в этом отрывке как раз выражена попытка преодолеть противоречие. Шатов хочет сказать, что именно благодаря признанию существования национальных "богов" и их соперничеству народ приближается к Богу и поднимается до Бога. Это можно истолковать как указание на путь, каким нации могут прийти к обладанию истинным Богом.

"Боги" — не что иное, как раздробленные, частичные, крайне разнообразные, и в этом разнообразии исторически необходимые отражения истинного Бога. Если путь к нему действительно лежит через "богов", должен пробить час, когда эти отражения померкнут и останется только отражавшийся в них свет. Если исходить из этой предпосылки Достоевского, здесь можно увидеть одну из двух сторон мировой истории. Вопреки воле и сознанию автора, другая из ее сторон представлена заявлением о евреях, которые "передали истинного Бога миру". На этой стороне истории нет и не может быть каких бы то ни было отражений, пока народ остается верен своему призванию. Достоевский пытается подвести евреев под однородную мировую историю, но они не поддаются приведению к этой категории. Несмотря на всю их неверность, они стоят по другую сторону истории.

Чтобы углубиться в корень этой проблемы, мы должны вернуться к временам задолго до Крохмалю.

Наш вывод о том, что существуют две стороны всемирной истории, берет начало еще у Амоса, который отвергает предпосылку (Амос, 9,7), что, с точки зрения исто-

рии народов, мы полностью противоположны другим нациям. Ибо другие народы, даже враждебные нам, тоже знакомы с освободительным воздействием божества, подобным тому, которое открывается в нашей истории. Истинный Бог, которого мы признаем, является освободителем народов. Но они его не знают; каждый народ называет своего национального бога, который определяет его миграции и территориальные притязания именем идола и приписывает ему действия идолов. Израиль отличен и отделен от этих народов тем, что он "познан" своим Богом и познал его в процессе этого контакта. Не Красное море, а только Синай принадлежит другой стороне мировой истории.

Амос учит, что все народы, поскольку они существуют в мировой истории, имеют отношение к истинному Богу, только они не знают Его. Исаяя дополняет это возвещение, говоря, что они Его еще не знают, но узнают Его, ибо Он сам научит народы их путям (Ис. 2, 3). Единственное наше преимущество перед ними заключается в том, что мы Его уже знаем. Но именно это "уже" налагает на нас задачу предшествовать им "в славе Господней" (Ис. 2, 5), так чтобы наша гора была приуготована для паломничества всех. Две стороны истории сливаются в один объединенный Божий мир.

Миха, по-видимому, ученик Исаяи, не соглашается с этим объяснением. Он заменяет призыв предшествовать народам более тягостным возвещением, в котором национальный партикуляризм пробивается сквозь национальный универсализм. Ибо он говорит, что даже когда все народы соберутся на святой горе, каждый будет ходить, как и раньше, во имя своего "бога", в то время как мы будем ходить "во имя Господа нашего Бога". Даже "при конце дней" две стороны всемирной истории будут разделены "навсегда" (Мих.4,5).

Амос, согласно Михе, имеет в виду, что народы зовут своими богами бледные образы истинного Бога, жалкие образы с лживыми именами. Придет день, пророчест-

вует Исаяя, когда народы соберутся "на горе в доме Господнем", на Синае наций, и получают Тору от Него Самого, от Бога, которого они так плохо воображали и неверно именовали; когда он сотворит мир меж ними и поведет их к великому миру всего человечества. Но хотя все народы научатся путям Господним, хотя они получают Тору и будут ведомы к миру, прежние образы и имена останутся. Согласно Михе, нет спасения народам. Стих Михи, выбранный Крохмалем в качестве эпиграфа, является исходным моментом для учения Даниэля о "князьях" и всего, что с этим учением связано. Согласно Даниэлю, народы не направляются в процессе мировой истории самим истинным Богом, но каждого ведет его собственный представитель от Бога. В результате деяния Бога на благо этих народов затемнены и Он обнаруживает себя в лучшем случае как Творец, но уже не как Господь истории народов. Народы действуют самостоятельно; даже князья — теперь только "ведущие духовные свойства нации" (Крохмаль), "синтетические национальные личности" (Достоевский). Таким образом, они являются теми силами, которые вырастают внутри наций и управляют их жизнью. И у любого народа нет иного пути к спасению, говорит Достоевский, как только побеждать с помощью своего "бога" и подчинять себе других богов и другие народы.

Это дает нам более полный взгляд на нашу задачу в мировой истории. Нам необходимо углубиться в прошлое, минуя учение Даниэля о князьях и даже более раннее учение Михи о непреходящем идолопоклонстве народов, пока мы не достигнем генеральной линии мысли, которая ведет от Амоса к Исаяе. Если национальные боги — это только частичные и несовершенные отражения истинного Бога, то именно благодаря этим отражениям народы обретут Его. Они "потянутся" "на гору, в дом Господень", — но оставаясь самими собой. Каждый является тем, что он есть, но его национальный характер, который раньше казался плотной и непроницаемой целостностью, теперь существует только в отношении

к Тому, Кто светится сквозь него, как сквозь чистое стекло. То, что раньше представлялось абсолют, обнаруживает себя как относительное в свете единого великого абсолюта.

Но если это так, в чем же смысл задачи, которую Крохмаль предназначал нам: учить народы "безусловной вере"? Это означает две вещи, которые по необходимости связаны друг с другом, так что одна отдельно от другой привела бы к ложному и даже роковому результату. Первое: доказать, что то, что обманчиво принимается за абсолют, только относительно; второе: указать на истинный абсолют и тем продемонстрировать разницу между ним и всем относительным.

Первая задача по своей природе связана с областью интеллекта: это исследование, анализ, критика. Вторая задача по своей природе выходит за рамки интеллекта, ибо разум никогда не в состоянии постичь абсолют в мере, достаточной для того, чтобы показать разницу между ним и всем относительным. Во всяком случае, невозможно у к а з а т ь на истинный абсолют, абсолют как таковой в умопостигаемых понятиях. Истинный абсолют может быть показан только как Бог; то есть, хотя для нашего мышления это абсолют, он определяется как таковой только в терминах личности, или, если прибегнуть к парадоксудолько в терминах абсолютной личности, которая обращается к нам, к тебе и ко мне лично и не говорит тебе и мне: "Я "Бог", но: "Я твой Бог", "Ходи передо Мною..." (Бытие, 17, 1).

В той или иной форме такое требование, такая заповедь следует всегда. Не может быть откровения без заповеди. Даже когда Тот, Кто обращается к нам, говорит нам о Себе, Он в действительности говорит о нас. То, что Он говорит о Себе, не имеет отношения к Его собственному бытию, но мотивирует и разъясняет Его требования к нам. Обращаясь к нам, Он вносит в человеческую жизнь различия между тем, что пристало, и тем, что не пристало человеку. Не переставая быть абсолют, то есть силой, которую нельзя отождествлять ни с каким

свойством, доступным человеческому разумению, Он различает между правдой и ложью, праведностью и неправедностью. Он побуждает нас произвести различие в сфере нашей жизни, подобно тому, как Он, в сфере, созданной им природы, отделил свет от тьмы. Наша собственная жизнь является, таким образом, единственной областью, в которой и посредством которой мы можем указать на Него. Но тайна нации в том и состоит, что только в национальной целостности и через нее это различие может быть воплощено в полноту жизни. Хотя нечто от праведности может проявляться и в жизни индивидуума, сама праведность может полно обнаружиться только в структурах народной жизни. В этих структурах праведность осуществляется внутри разнообразных групп народа, а направленная вовне — в области отношений народа к другим нациям, то есть осуществляется в разнообразии всевозможных социальных, политических и исторических ситуаций. Только жизнь может продемонстрировать абсолют, это должна быть жизнь всего народа.

Оратор в романе Достоевского заявляет, что его учение подымает народ до Бога, и говорит: "Народ — это тело Божье". Это христианский мистицизм, но мы тоже можем сказать, что только народ может как бы представлять Бога, так сказать, телесно, то есть в своей собственной жизни, — что Бог и имел в виду, создавая человека по своему "образу". "Целем", образ Божий, по которому человек создан как индивидуальность, или, точнее, как мужчина и женщина, — это контур, абрис, который может быть заполнен только народом.

Ибо "целем" откроется глазам человечества только через множественность индивидуальностей, разнообразных по характеру и намерениям, однако живущих в гармонии друг с другом, — человеческий круг вокруг Божественного центра.

Народ как таковой имеет естественные предпосылки для подобного дела; его члены имеют достаточно много общего, чтобы воспользоваться своими взаимоотношени-

ями как отправной точкой для осуществления идеи общности человечества, то есть для того, чтобы вести жизнь, угодную Богу, и таким образом показать Его всем. Индивидуальная мысль может расшатать троны, узурпированные интеллектуальными моделями, троны, которые каждая нация по очереди объявляет мировыми тронами; но ничто, кроме жизни народа, не может вздвинуть трон истинного Царя. Как я указал, каждая часть этой двусторонней задачи зависит от другой ее части и без нее не может осуществить благоденствие человечества.

Если не сотрясти фальшивые троны, попытка утвердить истинный трон — коль скоро такая попытка сделана — не будет правильно понята. К ней отнесутся как к вызову народам и поэтому ей воспротивятся и извратят ее. А если не будет предпринято заметных усилий для поддержки истинного трона, обнаженные и откровенные национальные эгоизмы захватят те самые троны, которые они очистили от интеллектуальных моделей. И тогда не характер или идея народа, а просто его техническая мощь будет объявлена абсолютом. Если у Израиля есть историческая задача (на основании того исторического факта, что он избран для служения истинному Богу), — она не может быть не чем иным, как этой двусторонней целостной задачей.

В эпоху, последовавшую за тем, как мы вошли в историю западных народов, вместе с провозглашением "равных прав" для индивидуумов наше мышление играло главную роль в установлении относительности мнимых абсолютов. Идеология, идеалы и идеи были подвергнуты сначала социологическому, а затем психологическому анализу и критике. Маркс разглядел в них просто вспомогательные конструкции в процессе производства и в классовой борьбе, им порожденной. Фрейд разоблачил их как сублимации сексуального либидо и конфигурации сил, стремящихся подавить его.

Однако в этих блестящих исследованиях безудержные методологические крайности подвергли "редукции"

самое истину, независимый духовный элемент идей. Внутри идеальной субстанции не было произведено никаких различий и разграничений; вместо этого она была с порога отвергнута, так что ее независимый характер вообще перестал признаваться. Реальным наследством, оставшимся после процесса критики, оказалась социальная динамика, базирующаяся на экономике, в первом случае, и на индивидуальности, определяющейся своими инстинктами, во втором, — на этих двух проявлениях монистически центрированной человеческой системы. Но человек не может быть обращен в монистическую систему, пока он не отречется от своей действительной целостности, пока он не сотрет в себе всякий отпечаток абсолюта, или, говоря на языке религии, пока не изгладится в нем образ Божий. Человек — не образ, но он создан по образу Божию, и, если образ сотрется, человек перестанет быть человеком.

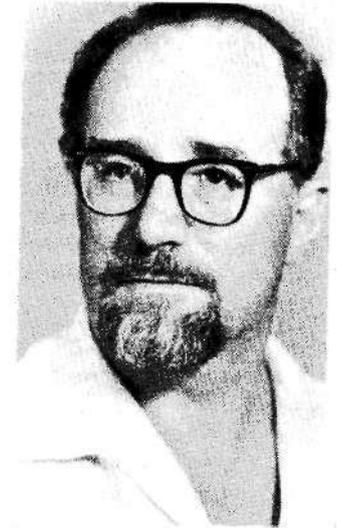
В течение прошлого века еврей с его способностью к критике, сотрясая кумиры, не приготовил места Богу, а постарался самого Бога лишить какого бы то ни было места на земле. Вместо того чтобы научить народы служить правде, а не фикции, еврейский критицизм внес свою лепту в то, чтобы заклеить идею правды как непозволительную фикцию. Аналитический критицизм еврейской мысли не случайно принял такой оборот. Маркс и Фрейд не сознавали, в какой зависимости находились они от господствующего духовного течения в современном еврействе, которое не может постичь действительное существование абсолюта. Это не только проблема "цивилизованного человека", относительно которого герой Достоевского выразил сомнение, может ли он вообще верить. Здесь прервалась органическая связь, связь, которая образует другую сторону мировой истории.

Как же быть со второй половиной задачи, которая может быть исполнена только через жизнь народа? После стольких веков исторического подавления, когда нам не разрешали установить наш собственный национальный

порядок, история как бы даровала нам передышку, во время которой мы на клочке земли, малом, но нашем, обрели право сказать наше собственное, относительно независимое слово о том, как мы хотим жить друг с другом и с нашими соседями. И что произошло в течение этой передышки? Много — и мало. Поколения, которые открыли в себе и развернули невиданную творческую силу и мощь, сделали прописи социальной справедливости краеугольным камнем своей работы. Но островки, ими созданные, смываются волнами жизни, которая не признает прописей, жизни, лишенной общего духа, общего порядка.

Мы еще не знаем, что окажется сильнее — волны или островки суши. А что касается этих прописей, фундаментальных самих по себе, — глубоко характерно, что они не являются откликом на заповеди. Опять-таки к абсолюту относятся как к анахронизму, как к реакционной концепции, отдающей несвободой мысли. Достаточно сравнить наши национальные сочинения, которые послужили теоретическими основаниями для поселений в Палестине, с книгой Крохмаля. Ибо даже те мыслители, которые не хотят, чтобы мы были "как все народы", заменяют дух абсолюта, дух, которому Израиль служит, "духом Израиля", который едва ли отличается по своему типу от "духов" других народов — иначе говоря, от "князя" среди других "князей". Мы надеялись, что ишув станет центром еврейского народа; но что является центром этого "центра"?

КРИТИКА



Марк ПЕРАХ

ФАКТЫ

ИЛИ СЕЛЕКЦИЯ ОБРАЗОВ?

В 1972-73 годах в газете "Джерузалем Пост" были опубликованы несколько статей Гробмана и Бенда,* в которых утверждалось, что Александр Солженицын — антисемит. Хотя аргументация этих статей была более эмоциональной, чем убедительной, они вызвали немалый, даже международный резонанс. По-видимому, это указывает на интерес к вопросу об отношении к евреям и еврейской проблеме со стороны крупнейшего русского писателя, завоевавшего глубокое уважение своей мужественной борьбой со злом.

Эмоциональную "отповедь" Гробману дали Михаил Агурский* и особенно Григорий Свирский.* Нетрудно понять возмущение этих авторов. Как писала

* Jerusalem Post Magazine, 10.11.1972; 3.08.1973

* Jerusalem Post Magazine, 13.04.1973.

* Jerusalem Post Magazine, 14.09.1973; Посев, № 11, 1973.

редакция польского журнала "Культура" в первом выпуске журнала "Континент": "хотелось бы сочетать восхищение великим писателем и борцом за правду с чувством сердечной солидарности". Под этими словами евреи могут подписаться наравне с поляками.

Но когда Агурский и Свирский видят в Гробмане лишь искателя "геростратовой славы", они, как кажется, слишком упрощают ситуацию. Утверждение Гробмана нашло отклик у многих представителей еврейской интеллигенции, и, значит, при всей неубедительности аргументации, он выразил не только личное восприятие некоторых сторон творчества Солженицына.

К сожалению, сами по себе большой талант и смелость не становятся некой вакциной, предохраняющей от антисемитизма. Спор — антисемит ли Достоевский, основанный на многих недвусмысленных высказываниях писателя, — породил уже целую литературу. Можно вспомнить и Льва Толстого, выразившего в одном из писем удовольствие от того, что Стюарт Чемберлен "доказал" арийское происхождение Иисуса. Из песни слова не выкинешь. И хоть многие евреи, возможно, хотели бы сочетать восхищение этими великими писателями с чувством сердечной солидарности, но вынуждены довольствоваться восхищением без солидарности.

Отчего же честность и мужество Солженицына и его большой талант должны означать, что уже по одному этому он в своем писательском видении автоматически должен быть свободен от всяких элементов антисемитизма?

Проще всего выяснить присутствие прямого, грубого, откровенного неприятия евреев и еврейства. Сложнее выявить антисемитизм замаскированный, утонченный, изощренный. Формы его многообразны. И, наконец, труднее всего разобраться в том случае, когда автор художественных произведений по убеждениям как будто бы вовсе не антисемит и искренне уверен в своем объективном (а иногда и повышенно доброжелательном) отношении к евреям и еврейству, но подсознательно, в системе

образов, в отборе деталей, которые он извлекает из действительности, — выдает скрытые антисемитские эмоции.

В статье, опубликованной по-русски в "Новом журнале" и по-английски в "Совет Джуиш Эфферс", профессор Роман Рутман обстоятельно обсуждает отношение Солженицына к еврейскому вопросу. При этом Рутманом движет очевидное стремление "соединить восхищение с сердечной солидарностью". Это естественное, благородное чувство у Рутмана, однако, настолько сильно, что, местами, заглушает другое, не менее существенное стремление — к строго непредвзятому исследованию фактов. Аргументация Рутмана построена на доказательстве того, что ясно и так. Например: уничтожение людей или их дискриминация по социальному признаку — "за соцпроисхождение" — так же преступны и отвратительны, как и по национальному признаку. Но кто же об этом спорит? И какое это имеет отношение к позиции Солженицына по еврейскому вопросу? Речь идет не о том, что еврейский вопрос для Солженицына не более важен, чем, например, вопрос об искусственном голоде на Украине, — а о том, как выражает писатель свое отношение именно к еврейскому вопросу.

СТРАННАЯ РОБОСТЬ...

В первом опубликованном произведении Солженицына — "Один день Ивана Денисовича" — еврейский вопрос не затрагивается вовсе, хотя не исключено, что в лице одного из персонажей, Цезаря Марковича, изображен еврей (в нем "всех наций намешано"). Между прочим, это было одним из поводов для Гробмана обвинить Солженицына в "умолчании" еврейского вопроса по антисемитским мотивам.

Обвинение странное, ибо очевидно право писателя отбирать из жизненных впечатлений те, что представляют ему наиболее существенными и работающими на главную мысль произведения. Однако если ни о какой антисемитской тенденции отсутствие евреев в "Одном дне Ивана Денисовича" не говорит, оно в то же время показывает, что Солженицын, который встречал в лагерях немало евреев, не придал их присутствию в лагерях специального значения. Проникнувшись огромной бедой России,

миллионы сынов которой безвинно гибли в чудовищной империи Гулага, Солженицын не выделил в потоке эзков отдельного еврейского ручейка. Но нелепо было бы требовать от писателя охвата в одной повести всего необъятного океана фактов, наблюдаемых им.

Есть, однако, деталь, отсутствие которой в повести Солженицына трудно счесть случайностью. Эта "деталь" — антисемитизм, который пронизывает лагерную повседневность. Слово "жид" — распространеннейшее в лагерном лексиконе, в речи эзков в той же мере, что и в речи чекистов. При этом жид — вовсе не обязательно действительно еврей. В Озерлаге я дружил с Николаем Ивановичем Богомяковым. Николай Иванович — забайкальский казак — гуран родом, с лицом монгольского хана и закваской рафинированного питерского интеллигента. Иначе, как "жид", его в лагере не называли.

В речи, например, сурового бригадира, так выразительно изображенного в "Одном дне Ивана Денисовича", слово "жид" должно было бы встречаться походя. Более того, весьма натурально вписалось бы это слово и в речь самого Ивана Денисовича. Можно себе представить, как Иван Денисович обращается к другому эзку с какой-нибудь просьбой и получает, отказ. Если Иван Денисович не всегда скажет, то почти всегда подумает: "жид!", ибо абстрактный "жид" в лагерной среде обычно считается воплощением скупости и жадности. Вполне возможно, что Иван Денисович — вовсе не антисемит. Но очень трудно представить, что, услышав в речи все эти "фуи" и введя их в литературу, Солженицын не услышал "жидов", мелькающих в речи ничуть не менее часто. Зоркий глаз Солженицына выхватил в живом виде множество даже мелких деталей. И вдруг странная глухота, когда дело дошло до столь заметной стороны лагерной действительности. И, значит, умолчание нарочитое.

Попробуем понять природу этой странной "робости" — на фоне самой бескомпромиссной смелости. Что означало бы ввести "жидов" в речь только отрицательных персонажей? Это означало бы погрешить против правды способом, бьющим в глаза. Заставить же и Ивана Денисовича употреблять это выражение, по всей видимости, Солженицын никак не хотел. Солженицын любит своего героя. Иван Денисович — это ведь русский народ, как его видит или хочет видеть Солженицын. Солженицын никак не хочет дать повод заподозрить своего героя даже в примитивном антисемитизме. И наименьшей дозой неправды

представилось полное исключение этого вопроса, а с ним и словечка "жид" из повести.

Однако умолчание — не лучший способ противостояния, и объективно, исключение еврейского вопроса, как если бы его не существовало, бьет по самой сильной стороне солженицынской повести — ее правдивости. А мощь солженицынского дара достаточна, чтоб скрыть швы, которые неизбежно остаются там, где вырезается кусок правды и сшиваются края.

Возможно, однако, замечание: "Один день Ивана Денисовича" — произведение "подцензурное". И Солженицын, зная, что рукопись пройдет через руки цензоров, должен был учитывать это. А всякий, кто знаком с паразитической системой тотального лицемерия в современной России, понимает, что если можно было еще рассчитывать на пропускание цензурой "фуев", то словечко "жид", не в устах махновца, деникинца или петлюровца, не было бы дозволено ни в коем случае.

Но образ Солженицына, искажающего правду из "цензурных" соображений, — нет, это не тот Солженицын, которого мы знаем, это уже не титан, вставший на бескомпромиссную борьбу со злом. Поэтому позволю себе отвергнуть предположение об ориентации Солженицына на цензуру.

РУБИН, РОЙТМАН И ДРУГИЕ

В романе "В круге первом" два важных действующих лица — евреи. Это — Лев Рубин и Адам Ройтман.

Рубин — идейный противник автора, и нужна была мужественная правдивость, чтобы так изобразить Рубина. Пройдя круги гулаговского ада, он остается убежденным коммунистом, единственным "настоящим коммунистом" из всех персонажей, ибо никаких убеждений нет у всех этих Степановых, Шикиных и иже с ними, носящих партбилеты. И автор, так видящий ложность коммунистической теории и преступность ее практики, находит в себе силу изобразить этого заблуждающегося

и совершавшего преступления человека — честным и порядочным.

Рубин — фигура трагическая. Его "единомышленники" — тюремщики, и Рубин не может не видеть тупости и отталкивающей мерзости чекистских выродков. А друзья, которых он любит и мнением которых дорожит, — все подряд враги того, что ему дорого.

Еврей, полюбивший немцев и пожалевший их — после того, что немцы убили шесть миллионов его соплеменников. Думается, что ни рука антисемита "физиологического", ни рука антисемита-"теоретика" не изобразила бы такое. Автор делает все, чтобы если не полюбить, то хотя бы понять Рубина. Ну, а прошлое Рубина? Почему Солженицын изобразил именно еврея в роли палача русской деревни? Что ж, опять-таки из песни слова не выкинешь. Были такие Рубины, честные и уверенные, что, изгоняя и преследуя, они олицетворяют высшую справедливость.

Так же реален и Адам Ройтман. Этот чекистский инженер-майор — единственное человеческое лицо в гнусном хороводе Бульбанюков, Осколуповых, Абакумовых, Смолосидовых и Яконовых.

Вспомним такой эпизод — ночь Ройтмана, когда жена его, волжанка, "спиной инстинктивно прижалась к мужу. Он перелег лицом к ней, повторил изгибом изгиб ее тела. Жена благодарно стихла". "Физиологический" антисемит едва ли смог бы написать такие строки.

Когда кампания по борьбе с "космополитами" дамковым мечом нависает над Ройтманом, автор, отрешившись от враждебности, естественной для зэка, глядящего на Ройтмана с другой стороны решетки, не то чтобы сочувствует, но как бы с пониманием изображает драму этого талантливого, но опустошенного человека, расплачивающегося за сделку с дьяволом.

Но одно дело — желание автора, и другое дело — объективный эффект изображенной им картины.

Остановимся на эпизоде, от которого "даже и сейчас мерзким стыдом залились" щеки Ройтмана. Это эпизод конца двадцатых

годов. Компания мальчиков-евреев, в которую втянули и Ройтмана, тогда двенадцатилетнего пионера, настойчиво преследовала русского мальчика Олега за антисемитизм, посещение церкви и чуждое классовое происхождение. Станным образом в этом эпизоде Солженицыну отказывает художественное чутье и авторская речь приобретает слащаво-сентиментальный оттенок. Олег — "подсудимый трясущийся мальчик", у него "узкая шейка", он "две недели не ел от страха". Разумеется, такие эпизоды могли случаться, но зачем это нагнетание "жалостного" эффекта? Кроме того, такой эпизод вряд ли типичен для конца двадцатых годов. Хотя в СССР существовали законы, предусматривающие наказание за "пропаганду или агитацию, направленную к возбуждению национальной или религиозной вражды или розни", но практически сколь-нибудь энергичная борьба с антисемитизмом не велась ни в какие времена. Даже в те ранние годы, когда множество евреев занимали различные посты в партийном, советском и карательном аппарате.

Вопрос этот очень подробно рассмотрен в детально документированном исследовании С. Шварца, опубликованном в Нью-Йорке в 1966 году. Дело в том, что партийные боссы еврейского происхождения меньше всего чувствовали себя евреями, но прежде всего коммунистами. Так что антикоммунистическое высказывание всегда обходилось дорого, но антисемитское расценивалось намного снисходительнее. Именно во второй половине двадцатых годов, как показывает Шварц, наблюдался подъем антисемитизма, сменившийся в первой половине тридцатых годов некоторым его спадом.

В конце двадцатых годов, скорее, нэпман был стандартным образом еврея, а не еврей-коммунист.

Нельзя утверждать, что Солженицын сознательно стремился исказить истину. Скорее, ему изменило чувство масштаба, и случайный эпизод приобрел силу обобщения. Объективно же получилось искажение исторической правды: ибо в советской России такие эпизоды никак не определяли положение евреев в стране.

В романе "В круге первом" действует Исаак Моисеевич Каган. Каган некогда сумел "вывернуться" из лап Чека, пытавшейся завербовать его в стукачи. Пишет Солженицын: "не то чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донес бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей, добрых к нему или безразличных". Далее иронически описывается "выдающееся остроумие" Кагана, сумевшего уже в лагере перехитрить

чекистов и ловко пристроиться "директором аккумуляторной" на Мавринской шарашке. Венчает портрет Кагана эпизод, в котором выясняется, что, устояв перед домогательствами Чека на поле и не прельстившись "на тысячи", в лагере он польстился на иудины сотни, выдаваемые "кумом" за стукаческие услуги. И даже этого жалкого Кагана Солженицын как бы понимает и изображает скорее с насмешливой жалостью, чем с ненавистью. Разве это антисемитизм?

И, кажется, ничто не способно бросить тень на отношение Солженицына к евреям в "Круге первом", но, за исключением "вечного" зэка Адамсона, персонажа второстепенного, евреи в романе — поголовно представители зла. Ройтман, при всех его "человечных" чертах, — чекист. Рубин — по эту сторону решетки, но он идейный коммунист, вкладывающий все силы в выполнение задания Чека — идентифицировать человека по его голосу. Затем — Исаак Каган, ловчила и даже лагерный стукач. Наконец, ревностный чекист-тюремщик Шустерман.

Авторы некоторых статей, берущих Солженицына под защиту от обвинений в антисемитизме, протестуют против того, что они именуют "арифметическим" или "процентным" подходом к его произведениям. По их мнению, подсчет числа "положительных" и "отрицательных" евреев в произведениях Солженицына не дает никаких оснований для суждений об отношении Солженицына к евреям и еврейскому вопросу. Но каких-либо аргументов против такого подхода эти авторы не приводят.

Бесспорно: не существует идеальных методов исследования. Каждый из них дает лишь ограниченную информацию об исследуемом объекте. И тем более ни "арифметический", ни какой-либо иной метод не могут дать исчерпывающего ответа, когда рассматривается такой сложный объект, как роман или повесть. Но "арифметический" метод вовсе и не претендует на сведение всей сложности художественного произведения к четырем действиям арифметики. В то же время подсчет "распределения" симпатий

писателя между его персонажами может дать не меньше информации о творческом замысле и подсознательной "сверхзадаче" автора, чем, например, выборка цитат из анализируемого произведения — метод, коим в литературной критике пользуются исключительно широко. И если при выборе цитат можно, при желании, "вывернуть наизнанку" то, что на самом деле хотел высказать автор, то отвергаемый с пренебрежением "арифметический" метод оставляет куда меньше возможностей для произвола в интерпретации литературных произведений.

Разумеется, были такие Ройтманы, Каганы, Рубины и Шустерманы. Более того — были и гораздо более отталкивающие фигуры евреев. Позже они появятся в "Архипелаге Гулаг".

Но — не только ведь такие. Не меньше было и совсем других — таких, как, например, Авраам Шифрин, известный на трассе "Тайшет-Лена" под именем Ибрагим, организовавший серию попыток побега и пользовавшийся непререкаемым авторитетом в мире зэков на всей трассе. Специальная группа оперсотрудников Иркутского Облуправления КГБ постоянно "курировала" Шифрина в продолжение всего срока его пребывания в Озерлаге.

Или, в том же Озерлаге, Ефим Борисович Гольцберг. До ареста он был руководителем нефтеразведочной экспедиции на Севере, где вступился за молодого рабочего, преследуемого Чека за "соцпроисхождение". В результате Гольцберг сам оказался в лагере, где пользовался уважением и большим авторитетом среди политзэковской молодежи, которую всегда ободрял и поддерживал, показывая пример твердости. Впоследствии, уже через несколько лет после освобождения, Гольцберг стал одним из главных в Новосибирске активистов движения за репатрицию евреев в Израиль, несмотря на сильно подорванное здоровье. Он был буквально затаскан КГБ и скончался после одного из допросов от инсульта.

Так что, хотел этого Солженицын или подсознательно "отбирал" героев и антигероев, но картина получилась "сдвинутой" и вполне может давать обоснование антисемитским эмоциям.

Если бы речь шла о татарах, узбеках или мордвинах — например, в романе было бы три героя-татарина, один из них — чекист, второй — зэк — убежденный коммунист и третий — стукач, то и в этом случае картина выглядела

бы нарочитой. Но все же в этом случае можно было бы воспринять такое сочетание героев, как случайность, не имеющую символического значения. Но когда речь идет о евреях, такая "деталь" приобретает повышенную остроту из-за остроты еврейского вопроса и его специфического характера сравнительно с любым другим национальным вопросом в России.

Хотя Солженицын, думается, объективен — в той мере, в какой это позволяет его накаленная эмоциональность, он, во всяком случае, не взвешивал последствий от изображения им образов евреев именно в таком "наборе", как они представлены в Мавринской шарашке, и дал антисемитам "по убеждению" возможность интерпретировать этот набор образов в желательном для антисемитов духе, а некоторым евреям воспринимать этот набор, как намеренно антисемитский.

В двух главах "Круга первого", посвященных ночи Ройтмана и "освобожденному секретарю" Степанову, сильными штрихами изображено начало "кампании по борьбе с космополитами". Солженицын видит всю подоплеку этой грязной сталинской затеи, ее грубо-юдофобский характер и испытывает к этой кампании естественное отвращение.

Если человек, не знающий ничего о России, прочитает эти главы романа, он узнает, что в конце сороковых годов "бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин". И это правда. Но далеко не вся правда. Трудно представить, что Солженицын ничего не знает об антисемитизме "стихийном". Не только Степановы, готовые, в зависимости от указания, как гнать, так и хвалить евреев, — проводники "гонений на израильтян". Немало — слишком немало — было и есть таких, для которых "разрешение" на гонения израильтян было долгожданным подарком. Солженицын обходит тот факт, что антисемитизм государственный питается антисемитизмом "стихийным". Портрет России без упоминания об этом — искаженный портрет.

По свидетельству бывших эзков, товарищей Солженицына по заключению, роман "В круге первом" представляет собой почти фотографическое изображение "шарашки", где в действительности находился автор. И, узнавая факты, характеры, даже речевые особенности героев, эти бывшие эзки вспоминают: прототипами многих действующих лиц были евреи, превращенные в романе, волею автора, в русских. Например, прообразом Руськи Дорони-на, возможно, с добавлением каких-то черточек других людей, послужил Перец Герценберг. Рассказывают, что прообразом талантливого инженера Бобынина, так смело говорившего правду в глаза всемогущему министру госбезопасности Абакумову, — по крайней мере частично, был также инженер-еврей.

Право автора — не копировать действительность, а художественно преображать ее. Но такая деталь, как превращение реально живших евреев в русских, часто положительных героев романа, проливает свет на уклонение Солженицына от осмысления еврейского вопроса в России в его истинном аспекте.

Солженицыну доступно и проникновение в глубь темных антисемитских эмоций, он знает и об антисемитизме "физиологическом". Об этом свидетельствуют несколько строк об оберштурмбаннфюрере СС Райнгольде Зиммеле, который "не унизился бы сесть с ним (Рубиным) за один стол". Однако, по "Кругу первому" ненависть к евреям — прерогатива эсэсовца и "упитанного — пудиков на шесть-семь" ответственного товарища, дающего указания Степанову. Как если бы Солженицын не знал, что в отношениях Кагана и Рубина с их товарищами-эсками и тюремщиками постоянно, неизменно присутствует ощущение их национальной принадлежности. Временами это ощущение лишено внешнего выражения. Но как часто оно выходит наружу в виде целого спектра степеней — от снисходительного "хороший человек, хоть и еврей", на одном полюсе, до "падло жидовское" — на другом.

Быть может, еврейский вопрос — не столь уж существен, когда идет речь о бедах России? Но, во-первых, для почти трех миллионов человек в России, хотят они этого или не хотят, еврейский вопрос поневоле становится главным вопросом, определяющим всю их жизнь и будущее их детей. Во-вторых, если почти три миллиона граж-

дан, предки которых пришли в эту страну много поколений назад, все еще чувствуют себя — повседневно — чуждым элементом, то это заслуживает, по крайней мере, упоминания. Не только с точки зрения еврейской беды, но, может быть, еще больше с точки зрения русской беды, с точки зрения нравственного здоровья России.

Солженицын писал, что, если бы каждый гражданин перестал поддерживать ложь, зло неизбежно развалилось бы. Но точно так же, если бы каждый гражданин отказывался участвовать в антисемитских акциях, государственный антисемитизм не продержался бы двух дней. Попытки уйти от этого подрывают основу того подхода, который избрал и так смело проводит в жизнь Солженицын, — подхода с позиций полной правды.

ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ ГУЛАГА

"Архипелаг Гулаг" представляется самым сильным произведением Солженицына. Впечатление от этого "художественного исследования" огромно, и каждая из его глав может иметь влияние на многие процессы в России и за ее пределами. Именно поэтому, касаясь "большого" вопроса, автор, казалось бы, должен был бы быть осторожным, не давая повода к неправомерным обобщениям. К сожалению, "Архипелаг" дает антисемитам более чем достаточный материал — для уже сознательного — искажения действительности. Открываем страницы, посвященные палачам, организаторам Гулага. Вот на одной странице — портреты Раппопорта, Бермана, Когана. Двумя страницами раньше — фотография и подробное жизнеописание Френкеля. Все это истина, и все эти раппопорты и берманы, френкели и коганы, сконцентрировавшие в себе "злую античеловеческую волю", были предшественниками Гимmlера и Эйхмана. Какая злая ирония судьбы и какой жестокий урок! Для евреев было важно, чтоб это все было описано и можно было всмотреться в лица этих чекистских выкорышек: они вышли из еврейского народа — не забывайте об этом! Возможно, большая часть из

этих боссов раннего Гулага веровала в свою особую, революционную миссию, и кто знает, может быть, предназначение их было — научить всех, кто шел за ними, что верить не во что: почти все они были проглочены злой системой, которую они создавали и лелеяли.

Но неполная правда — уже неправда. У читателя может сложиться впечатление, что все ЧК-ГБ состояло из одних евреев. Интересно, что в появившемся еще до выхода "Архипелага" в Самиздате клеветнически-антисемитском "Открытом письме Солженицыну" Ивана Самолвина* (псевдоним), Солженицын упрекается в том, что не назвал в "Одном дне Ивана Денисовича" имена создателей Гулага: Френкеля, Бермана, Когана — и не показал, что именно евреи создали Гулаг с целью истребления русского народа! Но вот "Архипелаг Гулаг" вышел, и "Самолвину" как будто уже не в чем упрекать Солженицына!

Интересно в этом свете сопоставить "Архипелаг Гулаг" с исследованием Роберта Конквеста "Большой террор". Конквест, в отличие от Солженицына, избегает проявления эмоций. Он анализирует огромное количество документов и, вскрывая всю историю советского КГБ, предоставляет читателю самому делать из фактов выводы. Уступая "Архипелагу Гулаг" в художественном пафосе, книга Конквеста очень сильна скрупулезной объективностью. В ней упоминаются те же евреи — деятели Гулага, что и в книге Солженицына. Однако эти шесть-восемь еврейских имен тонут среди сотен имен чекистов-неевреев, и становится очевидным, что берманы и коганы составляли хоть и заметную, но отнюдь не главную долю чекистской своры, которая была интернациональной по составу, с преобладанием русских. Сопоставление "художественного исследования" Солженицына с бесстрастно-объективным исследованием Конквеста показывает, как существенно искажена действительная картина в "Архипелаге Гулаг".

Складывается впечатление, что кто-то целеустремленно собирал материал именно о лагерщиках-евреях и затем Солженицын получил этот материал в свое распоряжение, в то время как "подвиги" Завенягина, Гаранина, Берзина, Никишова, Молчанова, Миронова, Агранова, Гая, Кашкетина и прочих больших и меньших гулаговских бесов нееврейского происхождения не стали предметом столь пристального рассмотрения.

*Текст "Письма" Самолвина воспроизведен в "Новом журнале", №118,1975

В одном из интервью Солженицын так и говорил, что он использовал тот материал, который был в его распоряжении. А отвечая на вопрос другого журналиста: почему в книге так выпячена роль евреев в Гулаге, — Солженицын ответил, что таковы факты. Но если преклонение перед фактами, то отчего же не перед всеми? Книга, вышедшая из-под пера, живет теперь своей жизнью, независимой от намерений автора. И какой же великолепный антисемитский материал она поставляет! Антисемитизм не знает логики и здравых оценок. В лагерях, да и не только в лагерях, можно услышать версии, излагаемые с фанатичной убежденностью, что, например, Сталин — еврей, Берия и Хрущев — евреи, засланные в Россию жидо-масонами. И вот оказывается, что русский народ в лагерях истребляли именно берманы, раппорты, коганы, Френкелы — в согласии с версией о жидо-масонском заговоре против России. И документально это показывает не кто иной, а сам Солженицын!

Ну а как изображен им мир заключенных? За всех у него боль, всех замечает автор, рисуя монументальное полотно сталинского террора, — от эсеров до "указников", посаженных за подобранные на поле колоски. Но почти ничего не говорит, например, об уничтожении бундовцев и сионистов в двадцатых годах, о массовых арестах раввинов в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Нет в первых четырех частях "Гулага" ничего об уничтожении еврейских деятелей культуры в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Этот "пропуск" в книге Солженицына дал повод Э.Визелю воскликнуть с горечью: "Почему Солженицын так видит свои страдания, но не замечает наших?"

А то, что антисемиты знают, в каком направлении истолковывать Солженицына, видно хотя бы из заметки Н.Гаенко и А.Карпова (по-видимому, русских эмигрантов, живущих ныне в ФРГ) о статье "Давление русских националистов на радиостанцию Свобода" В.Белоцерковского.

Обе статьи — и В.Белоцерковского, и названных выше

Гаенко и Карпова — пока что распространяются в зарубежном "Самиздате". Гаенко и Карпов, в частности, пишут, полемизируя с Белоцерковским: "...при чем тут... Александр Исаевич, ...если он называет имена палачей, в большинстве бывших евреями! ("Архип. Гулаг", книги 3-4) Не может же он отнести их, скажем, к туркменам, казахам, белорусам — этих френкелей, коганов, раппортов, берманов, ягоду, авербахов, финкельштейнов и многие тысячи чекистов-евреев, заливших страну невинной кровью!"

Вот вам уж и нарицательные "финкельштейны", злодейски залившие Россию этой невинной кровью!

К сожалению, в нашем распоряжении нет полной статистики — из кого состояли палачи и из кого — жертвы. (В книге Конквеста такая полная статистика тоже не дается.) Можно, однако, привести красноречивые примеры. В "Новом журнале", № 119, 1975, стр.110-118, помещено сообщение Эф.Эм. об одном из эпизодов истории Гулага — о так называемых "кашкетинских расстрелах". Только в одной из таких "операций" было уничтожено более тысячи эзков. Кто же проводил "операцию"? Вот перечень фамилий чекистов, осуществивших "кашкетинские расстрелы": Кашкетин, Григорович, Чучелов, Никитин, Бутузов, Манохин, Зеленин, Усков, Гризнутин, Жариков. (Действительно, никак их не отнести к казахам или туркменам!) Из более тысячи имен расстрелянных автору сообщения в "Новом журнале" удалось сохранить 184. Судя по именам, среди них по меньшей мере был 71 еврей, то есть почти сорок процентов!

В "Архипелаге Гулаг" "кашкетинским расстрелам" уделено немало места. Но почему-то здесь имена палачей оказались для Солженицына не столь интересными, как в случаях с Берманом или Раппопортом.

В воспоминаниях В. Шаламова под названием "Как это началось?", помещенных в том же 119 выпуске "Нового журнала", указаны чекисты-"хозяева" одного из крупнейших подразделений Гулага тридцатых годов — Дальстроя (где легло костями не меньше эзков, чем, скажем, на Беломорканалстрое). Вот эти имена: начальник Дальстроя Эдуард Берзин, его заместитель, начальник УСВИТЛ* Филиппов, их "соратники" Майсурадзе, Егоров, Васьяков (именем которого называют магаданскую тюрьму), Цвирко.

*УСВИТЛ — аббревиатура: Управление Северо-Восточных Исправительно-трудовых лагерей.

Этих имен (кроме Берзина) в "Архипелаге" Солженицына нет. Гаенко и Карповы, естественно, тоже не помнят этих имен.

И наконец эпизод из главы 8, части III "Архипелага", посвященный судьбе женщин в лагерях. Помните, в этой главе описывается, как лагерные "придурки" определяли к себе в наложницы приглянувшихся им женщин. Касаясь этой мрачной страницы истории Архипелага, Солженицын избегает называть имена как жертв, так и их "владык". Кроме одного случая, когда старый Исаак Бершадер "покупает" молодую красавицу М. И если из всех имен называется только Исаак Бершадер, то не удивительно, что воспринимается это как обобщение. Как будто бы и вправду в лагерях все было в руках бершадеров! Любой бывший лагерник отлично знает, что такое представление, мягко говоря, далеко от истины. А как образно противопоставляет Солженицын красавицу М. "пркупателю". Бершадер — и старый, и грязный, и жирный, и алчный. А бывший снайпер М. — тут и пунцовые губы, и лебяжья осанка, и волосы вороновым крылом, и "стройный тополь". И чтобы усилить достоверность рассказа, Солженицын сообщает, что он сам видел, как М., опустив голову, постучалась в каптерку Бершадера. Сцена, которая могла бы быть без изменений просмакована, в листках "Союза русского народа", а описание Бершадера вызывает ассоциации с рисунками в печально знаменитом творении киевского нациста Трофима Кичко.

В арсенале геббельсовской пропаганды был эффектный плакат, безошибочно действовавший на инстинкты толпы. На плакате изображалась юная и нежная арийская девушка, к которой протягивал уродливые лапы отвратительный еврей, вполне могущий быть прототипом Бершадера. Увы, горестная ассоциация!

Судя по рассказам людей, покинувших СССР в последнее время, — ЧК-ГБ, чувствуя, что не удастся полностью закрыть путь "Архипелагу" к русскому читателю, уже пытается через инспирированный Лубянкой квази-самиздат использовать определенные стороны этой книги в своих интересах. При этом проводится следующая мысль: видите, кто был виноват в ужасах Гулага! А нынешнее КГБ — совсем не то, теперь оно — в первых рядах борьбы с сионизмом — злейшим врагом человечества и в первую очередь — русского народа!

В то же время Солженицын подвергается злобным нападкам со стороны тех же "русских патриотов" вроде упомянутого выше Самолвина. В маниакально-антиеврей-

ском и антихристианском, советско-русско-шовинистическом пасквиле "Критические заметки русского человека о патриотическом журнале "Вече" (текст которого был опубликован в самиздатовском сборнике "Евреи в СССР", № 8, и воспроизведен в "Новом журнале", № 118, 1975) Солженицын объявлен "сионистствующим врагом русского народа". Но дело в том, что автора упомянутого сочинения (по-видимому, близкого к подразделениям Сулова или Андропова) не устраивает никакое иное решение еврейского вопроса, кроме "окончательного" — в духе Гитлера-Эйхмана или Хабаша-Хаватме. Всякий, кто не разделяет этих мечтаний, зачисляется в "сионистствующие" враги русского народа. Уровень этой стряпни виден, например, из того, что автор утверждает: главная цель сионизма — физическое уничтожение русского народа к 2000 году. Любопытно, что "Один день Ивана Денисовича" снискал одобрение этого "русского патриота", а злобу его вызвал "Август 14" — единственное произведение Солженицына, где, в частности, выведен полностью положительный образ еврея.

СНОВА БЕРШАДЕР

Коснемся теперь пьесы "Олень и шалашовка". С большой художественной силой изображены здесь античеловеческие будни "исправительно-трудового" лагеря вскоре после окончания войны (осенью 1945 года). "Еврейский вопрос", как таковой, в пьесе никак не затрагивается. Как и в "Одном дне Ивана Денисовича", лагерный антисемитизм автором "не замечен". Но в пьесе есть действующие лица — евреи. Два из них определены как евреи совершенно однозначно — это старший прораб Арнольд Ефимович Гурвич и старший бухгалтер зоны заключенный Соломон. Третий персонаж — инженер Борис Александрович Хомич. Имя, отчество и фамилия этого персонажа оставляют без ответа вопрос о его национальной

принадлежности.* Естественно, что при постановке пьесы в театре режиссер и актер имеют здесь свободу выбора и Хомич может быть изображен в равной мере — очевидным евреем, очевидным неевреем и наконец лицом неопределенной национальности. Можно, однако, предполагать, что, независимо от замысла Солженицына, читатель и зритель в России (за исключением случая, когда театр сознательно подчеркнет нееврейское происхождение Хомича) воспримут персонаж с т а к о й неопределенностью как несомненного еврея.

Все три персонажа — Гурвич, Соломон и Хомич — олицетворения дьявола.

Прораб Гурвич — хозяин эзков на производстве. Человек этот наделен огромной энергией, но это — дьявольская энергия, направленная исключительно на выжимание соков из замученных эзков.

Когда заключенный Муница в немислимых условиях "объекта" ухитряется наладить плавку бронзы, Гурвич вкупе с двумя другими негодьями "оформляет" на свое имя изобретение, за которое положены премии, путевки на курорт и почет, в то время, как Мунице отказывают даже в ничтожной эзковской премии. Жизнь эзка для Гурвича — ничто.

Еще отвратительней — Соломон. Все, что Солженицын рассказывает о Соломоне, наталкивает на мысль, что перед нами — все тот же Бершадер.** Благодаря хитрости, низости и умению потакать даже еще невысказанным желаниям начальника лагеря заключенный Соломон — фактический правитель этого замкнутого страшного мирка. Этот Соломон ловко убирает мешающего ему Немова с поста начальника производства и ставит на его место Хомича. В Соломоне сочетаются традиционные черты мелкого жулика-еврея с его якобы еврейскими словечками с чертами дьявола, принявшего облик лагерного бухгалтера.

Приезжает начальник лагеря Овчухов. И Соломон немедленно подносит ему пол-литра водки, так что даже Овчухов восхищенно говорит: "И откуда ты все достаем?" И в самом деле, откуда? Запертый в зоне, Соломон может то, чего не может все-

* Судя по указанию в гл. 9, ч. 3 "Архипелага Гулаг", прообразом Хомича послужил инженер Александр Федорович К.

** Исходя из сведений в гл. 9, ч. 3 "Архипелага", можно полагать, что Соломон — образ собирательный, реальными прототипами которого послужили бухгалтер Соломонов, кладовщик Бершадер и нарядчик Бурштейн.

могущий начальник лагеря. Далее Соломон как бы читает мысли Овчухова. Начальник еще только собирается вызвать Соломона, а Соломон уже здесь. Начальник еще не успел сказать, что ему нужна книга приказов, а она уже за спиной у Соломона. Можно представить, какие эмоции может вызвать появление такого Соломона на сцене!

Что касается бершадеровской похоти, то Солженицын не наделяет ею Соломона, но отдает эту, тоже достаточно традиционную деталь антисемитского мифа — Гурвичу. Не Соломон, так Гурвич определяет к себе в наложницы героиню пьесы Любу. (В конце пьесы эта лагерная "шалашовка" стучится в дверь кабинки не Соломона, а врача Мерещуна. Но как ни низко пал Мерещун, в его отношении к Любе есть какая-то доля человечности. Люба, по крайней мере, нравится Мерещуну, и он предлагает ей то единственное, что может предложить в условиях лагеря: несколько дней отдыха в санчасти — поначалу, а позже — жить "в законе". Для Гурвича же Люба — просто вещь, которую он походя подбирает для использования, и мысли не имея, что желания Любы могут иметь какое-либо значение.)

Дьявольский набор пороков — инженер Хомич. Осужденный за хищения, он в лагере "ни одного дня на общих работах" не был и превосходит любого чекиста в изощренном выжимании последних сил из "работяг". Это ему принадлежит план, как "взять за горло" эзков, получающих посылки: "или выкладывайся как вол, или подыхай!" И, конечно, Хомич — стукач.

Как говорилось выше, имя и фамилия этого персонажа не дают ответа на вопрос о его национальной принадлежности. Он может быть евреем, неевреем или лицом неопределенной национальности. Но повторяю: независимо от того, хотел этого Солженицын или не хотел, можно предполагать, что русский читатель воспримет Хомича в этих обстоятельствах, как несомненного еврея.

При этом евреям — воплощениям дьявола не противопоставлен ни один персонаж-еврей, не то чтобы "положительный", но даже индифферентный.

"РАКОВЫЙ КОРПУС" БЕЗ ЕВРЕЕВ

Действие повести "Раковый корпус" происходит в середине пятидесятых годов. Место действия — онкологическое отделение больницы в городке Ташкентского медицинского института (хотя она прямо не названа, но ее описание определенно указывает больницу, которую я хорошо знаю по личному опыту). В повести сре-

ди персонажей нет ни одного еврея. Я полагаю, что за это предъявлять какие-либо претензии Солженицыну неуместно. Но снова — для попытки понять его отношение к еврейскому вопросу — факт этот далеко не мало важен.

Антисемитская кампания, начавшаяся в 1949 году, примерно до середины 1952 года, доходила до Средней Азии лишь в виде отголосков. В результате многие научные работники и врачи-евреи, ставшие жертвами антисемитских чисток в Центральной России, в начале 50-х годов перекочевали в Среднюю Азию — в Ташкент, Алма-Ату, Фрунзе, Душанбе. В 1952 году в медицинских учреждениях этих республик работало значительное число евреев. Были врачи-евреи и среди онкологов.

В 1952 году "борьба с космополитами", закончившаяся в Центре почти полным удалением евреев со всех сколько-нибудь значительных позиций в науке и медицине, докатилась и до Средней Азии, достигнув апогея в период печально знаменитого "дела врачей".

Именно в это время были проведены массовые увольнения евреев из медицинских учреждений Средней Азии, главным образом из медицинских институтов и клинических больниц. Мотивировки увольнений (в тех случаях, когда вообще давались формулировки) были дикими. Например, группа видных врачей — докторов наук была уволена из Ташкентского и Сталинабадского (ныне Душанбинского) мединститутов по обвинению в том, что они "учились на деньги Джойнт".

Смерть Сталина приостановила этот антисемитский шабаш, и в апреле-мае 1953 года большая часть уволенных (хотя далеко не все) была восстановлена на работе, обычно с понижением в должности.

Все эти события оставили глубокий след и в 1955 году — в период действия повести "Раковый корпус" — были еще очень свежи в памяти врачей и медсестер. Пациент ракового корпуса, длительное время проведенный в его стенах в 1955 году, не мог не знать о том, что произошло с частью врачей незадолго до этого. Особенно такой

необычный пациент, как Солженицын, с его обостренным чутьем ко всякой несправедливости. Но он не пишет об этом ни слова. В то же время в повести есть прекрасные, очень точные образы, раскрывающие, например, преступные издевательства советской власти над "советскими" немцами. При этом Солженицыну вовсе не безразлична национальность его персонажей. Персонажи-немцы несут на себе тяжесть дискриминации, обусловленной именно их национальной принадлежностью. Но если в раковом корпусе и работают врачи-евреи (а в реальном раковом корпусе врачи-евреи были!), то их национальность для Солженицына не имеет значения.

Итак, признавая право писателя выбирать героев по своему усмотрению, мы вынуждены констатировать, что Солженицын уклонился от введения в повесть не только еврейского вопроса но и вообще врачей-евреев, которых он встречал, находясь в больнице. Почему? Об этом можно только гадать. Полагать, что такое устранение от еврейского вопроса имеет антисемитские мотивы — нет оснований. Повесть "Раковый корпус" не имеет ни антисемитских, ни просемитских черт — она, по выражению Жаботинского, — "асемитская".

ОТКУДА ЖЕ ВЗЯЛИСЬ ТРОЦКМЕ?

В романе "Август четырнадцатого" есть один красноречивый эпизод. Помните — когда Исаакий Ложеницын оказывается непринятым в университет, так как его имя вызвало предположение об еврейском происхождении? Исаакий представил справку о крещении, после чего двери университета открылись перед ним. И после этого Исаакий — любимый герой Солженицына — долгое время тяготился сознанием, что устроил свои дела в университете только, поскольку доказал, что не имеет отношения к народу, "через которого в мир пришел Христос".

Хоть и намеком лишь, но Солженицын здесь отмежевается от одной из самых тяжелых форм антисемитиз-

ма — антисемитизма религиозного, связанного с возложением ответственности за убийство Иисуса из Назарета на еврейский народ из поколения в поколение. В течение многих столетий еврейский народ испытывал тяжкие гонения именно вследствие этой формы антисемитизма. Лишь совсем недавно католическая церковь сняла с еврейского народа обвинение в Богоубийстве. Но многовековая традиция слишком сильна, и штамп "жиды-христо-продавцы" находит немалый спрос и поныне. Поэтому эпизод с Исаакием представляется очень важным для попытки понять, во всей его сложности, отношение Солженицына к еврейскому вопросу.

В романе "Август четырнадцатого" мы впервые встречаем вполне "положительного" еврея — Илью Исааковича Архангородского, инженера и строителя, патриота России, в определенной мере выражающего даже взгляды Солженицына. Жаль только, что это — единственный персонаж во всех доньше опубликованных произведениях Солженицына, представляющий силы добра. Этот единственный герой не может, конечно, перевесить впечатление от всех этих бершадеров, френкелей, каганов и соломонов. Но все же хорошо, что здесь Солженицын изобразил еврея-созидателя, с которым солидаризируется и сам автор романа.

Но при всей привлекательности этого образа и при всем значении эпизода с Исаакием в целом роман "Август четырнадцатого" "асемитский" — то есть в нем еврейский вопрос в России почти не затрагивается. Как мы знаем, роман этот — лишь первая часть многотомной эпопеи, посвященной Февральской революции и Октябрьскому перевороту. Но, вспоминая о непропорционально широком участии евреев в обоих событиях — и февральском, и октябрьском, — трудно представить, как можно раскрыть все их стороны, не коснувшись положения евреев в России перед 1917 годом.

Сдавленная прессом черты оседлости, энергия еврейских парней и девушек, запертых в грязных нищих местах, к семнадцатому году прорвала стены ограничений

и вырвалась на просторы революционных действий. Мы видим евреев среди эсеров, меньшевиков, анархистов и, наконец, — большевиков.

Хотя утверждения типа: "евреи сделали революцию в России" — относятся к числу мифов, извлекаемых на свет, когда это удобно для разжигания определенных страстей, но факт состоит в том, что немало евреев наложило определенный отпечаток своей личности на события 1917 года. Вопрос этот связан с долгой и трудной историей евреев в России. Но в "Августе четырнадцатого" нет ни слова ни о черте оседлости, ни о погромах. Но ведь потом станет непонятным — откуда взялись и Троцкий, и Фанни Каплан, и Мартов, и Свердлов, и жестокие комиссары в кожанках, с маузерами на боку, не выговаривавшие буквы "р".

САТАНА-ПАРВУС И БЕЗВОЛЬНЫЙ ЛЕНИН

Впрочем, как видно из новой книги Солженицына "Ленин в Цюрихе", где собраны главы из разных томов эпопеи, начатой "Августом четырнадцатого", писатель не намеревается обойти роль евреев в событиях 17 года. Хотя "еврейский вопрос" в России Солженицына не занимает, но имена евреев в изобилии встречаются в "ленинских" главах эпопеи.

Складывается впечатление, что основной пафос этих глав сводится к сильному стремлению Солженицына показать, что октябрьский переворот не имел никаких корней в русском народе, а был совершен кучкой чужаков, сознательно не отождествлявших себя с Россией. (То, что "большинство" организаторов большевистского заговора, по Солженицыну, "оказались" евреями, кажется, для писателя второстепенная деталь. Главное для Солженицына — что они были нерусскими! А сам Ленин — "на четверть" русский.)

Солженицыну очень хочется "обелить" русский народ. Антисемитский же эффект, обусловленный нагроможде-

нием еврейских имен в главах о Ленине, Солженицына, по-видимому, не беспокоит. Более того, в книге "Ленин в Цюрихе" снова действует Бершадер. Только теперь его зовут Парвус. Если Исаак Бершадер, грязный и алчный кладовщик, волею судеб мог властвовать только в пределах небольшой зоны, окруженной колючей проволокой, то Израиль Лазаревич Гельфонд, по прозвищу Парвус, простирает ареал реализации своих сатанинских замыслов уже на тысячеверстные просторы Европы и России.

В конце книги "Ленин в Цюрихе" Солженицын приводит краткие характеристики действующих лиц и их роли в революционном движении. О Парвусе сказано: "С февраля 1915 в переговорах с германским м.и.д. взялся сделать революцию в России и вывести ее из войны". Судя по солженицынскому описанию деятельности Парвуса, он имел все основания "взяться сделать революцию в России". Как олицетворение темного начала, сатанинских сил, Парвус во всех смыслах превосходит и опережает Ленина. Так, в 1905 году, по Солженицыну, "Ленин был придавлен Парвусом, как боком слона". Или: "Во всей революции Пятого года не участвовал Ленин и не сделал ничего — исключительно из-за Парвуса: тот топал всю дорогу впереди, и топал верно, не сбиваясь — и отнял всякую волю идти и всякую инициативу". (Это у Ленина отнял Парвус волю и инициативу!) "Он был единственный на земле несравненный соперник — и чаще всего удачливый, всегда впереди".

Парвус — этот Бершадер, распространивший свое влияние до международных масштабов, был, как сообщает Солженицын, "изобретателем Совета" (то есть того механизма власти, изобретение которого приписывается Ленину). Советом он, однако, как и положено бершадерам, "управлял из тени".

Парвус — истинный представитель племени бершадеров и в его поклонении деньгам. "Нужно деньги в руках иметь — и будет власть" — так высказывает Парвус Ленину свое кредо. Помня Бершадера, можно довольно уверенно предсказать, что одной из черт Парвуса должна быть похоть. Так и есть: он, например, "открыто кутил с полными блондинками" (блондинками — ибо похоть бершадеров направлена на арийских женщин?). И внешне Парвус — разновидность бершадера: "Стоял — натуральный, во плоти — с непотягаемым пузом, удлинленно-купольная голова, мясисто-бульдожья физиономия с эспаньолкой — и блеклым внимательным взглядом рассматривал Ленина".

Главный смысл деятельности Парвуса — развал России. Для этой цели и пытается он использовать и узколобого фанатика Ленина, и своего любимого ученика Троцкого, и немецкие министерства, и даже "Союз вызволения Украины" вместе с армянскими и грузинскими националистами (как не вспомнить страшный "комплот" сионистов и "украинских буржуазных националистов", столь страстно предаваемый анафеме в современной советской "печати").

Здесь не ставится задача проанализировать истинный облик исторического Парвуса или действительную роль Парвуса, Ленина, Троцкого и других действующих лиц книги в событиях начала века. Такой анализ, сам по себе весьма интересный, требовал бы привлечения обширного фактического и исторического материала и выходил бы далеко за рамки этой статьи. Существенно лишь отметить, что Солженицына не остановил стимул для антисемитских эмоций, содержащийся в главах о Ленине. Можно ожидать, что неонацисты типа шимановых и самолвиных с удовольствием будут ссылаться на "Ленина в Цюрихе" для обоснования "важности" беспощадной борьбы с "сионистской опасностью" в России.

МОЖНО ЛИ ДЕЛИТЬ СВОБОДУ?

В книге "Бодался теленок с дубом" Солженицын описывает эпизод, как группа евреев обратилась к Сахарову с просьбой подписать письмо американскому Конгрессу, касающееся права евреев на эмиграцию. Излагая этот эпизод, Солженицын вполне откровенно выражает неодобрение затее девяноста евреев и считает, что подписание письма Сахаровым было ошибкой, так как переключило внимание общественности с важного вопроса о свободе в России на второстепенный вопрос — эмиграцию евреев. Получается, что сочувствие Солженицына всем угнетаемым и преследуемым — это одно дело, а его взгляд на еврейский вопрос в России — другое дело. Солженицын, может быть, и сочувствует евреям, но полагает, что уделять внимание этому вопросу — значит лишь отвлекаться от вопросов судьбоносных.

Касаясь упомянутого эпизода, Солженицын пишет об евреях, обратившихся к Сахарову: "Чуждые этой стране и желающие

только вырваться, они написали, как всегда, о своем". (Только ли "всегда о своем" говорили, например, Илья Габай, Габриэль Суперфин, Алик Гинзбург, Наум Коржавин, Александр Галич, Семен Глузман и многие другие "граждане еврейского происхождения", которых боль России озаботила больше, чем еврейская боль?)

И не возникает у Солженицына вопроса, почему же эти люди — "чужие этой стране"? А может быть, это — свои, которых насильно сделали чужими? И можно ли искать нравственного выздоровления России, замалчивая часть ее нравственных болезней? И можно ли делить свободу? И надо ли, например, подписывать письма, касающиеся обворованных советской властью крымских татар или геноцида в Биафре?

По-видимому, здесь Солженицын расходится с Сахаровым, для которого свобода неделима. Подход Сахарова представляется не только более привлекательным, но и более правильным даже прагматически.

Контрастом к подходу Солженицына выглядит статья Андрея Синявского в первом номере журнала "Континент", статья, в которой русский писатель Синявский глубоко проникает в природу стихийного антисемитизма в России и в истоки желания многих евреев "только вырваться".

В той же книге "Бодался теленок с дубом" Солженицын пишет, что он, по его характеру, не может обойти ни один важный вопрос. Например, еврейский вопрос — казалось бы, зачем он ему? Без него спокойнее, а вот он, Солженицын, не может не написать об этом. Но, во-первых, еврейский вопрос понимается, как вопрос сталинских репрессий и не более. Во-вторых, чем вообще вызван такой подход: "Зачем мне эта проблема, без нее спокойнее"? Солженицын ставит себе в заслугу, что не обошел еврейского вопроса. Но разве не естественно, что писатель, выразитель общественной совести, видит во вскрытии нравственного нарыва не заслугу, а элементарный долг?

x x
x

Рассматривая отношение Солженицына к еврейскому вопросу, надо вспомнить, что Солженицын сочувственно поддержал стремление евреев жить в своем доме. Еще в самиздатовском "Ответе трем студентам" Солженицын писал, что "Израиль имеет право жить и быть". В нескольких интервью, данных уже на Западе, он произнес теплые слова в адрес Израиля и евреев, стремящихся к репатриации на историческую родину. Он осудил западные правительства, которые капитулировали перед арабским нефтяным шантажом, в то время, когда "мужественный Израиль насмерть защищался вкруговую".

Эти слова вызвали признательность евреев и тронули их сердца. Именно поэтому особенно обидно, что, не поняв всех сторон еврейской трагедии, Солженицын не захотел учитывать, что всякое, умышленное или неумышленное, добавление хоть малой черточки к антисемитскому мифу в конечном счете ведет к погромам и геноциду. Да, очень больно, что великий русский писатель и бесстрашный борец со злом, воплощенным в "советской" власти, в его великолепных книгах, составляющих гордость России и всего человечества, дает, вольно или невольно, повод находить, якобы фактическое и логическое, обоснование для иррациональных антисемитских эмоций.

Отрицательное отношение Солженицына к сталинским антиеврейским эксцессам и его симпатии к Израилю могут, помимо естественного стояния за правду, проистекать еще и просто из того факта, что эти эксцессы и антиизраильские атаки исходят от "советской" власти, сконцентрировавшей сегодня в себе главную долю мирового зла.

Что же касается мыслей и чувств Солженицына, о них можно лишь гадать. Несколько упрощая, представляется правдоподобным предположение, что Солженицын сознательно отталкивается от антисемитизма, но на

уровне подсознания у него, как кажется, преобладает комплекс "противоборства с бершадером".

Несомненно, изложенная в статье позиция трудна для защиты. Сторонники одной точки зрения — а таких немало среди еврейской интеллигенции — могут обвинить автора в стремлении бросить тень на Солженицына. И в случае удачи таких попыток это может вызвать отчуждение между движением евреев за репатриацию и общедемократическим движением в России. Мне отнюдь не хотелось бы такого эффекта от статьи и по чувству хотелось бы разделить мнение профессора Рутмана. Сторонники другой точки зрения, нашедшей утрированное выражение в статьях Гробмана, могут видеть в позиции автора противоположное стремление — обелить Солженицына, восхищение которым заставляет автора закрывать глаза на сознательный, по их мнению, антисемитизм писателя.

Бесспорно, вопрос об отношении Солженицына к евреям слишком часто рождает эмоциональную реакцию, и сохранение позиции, основанной не на пожеланиях, а на фактах, влечет конфронтацию с обеими сторонами дискуссии.

Я далек от желания как обвинять, так и обелять Солженицына. При написании статьи я исходил из предположения, что попытка непредвзятого исследования фактов, в той мере, как это доступно для ограниченных способностей человека, не может принести вреда. Но, выражая Солженицыну в полной мере восхищение как писателю и воителю за правду, я пытался увидеть его отношение к евреям и еврейскому вопросу — такое, как оно есть, а не каким хотелось бы его видеть, не впадая при этом ни в крайность Гробмана, ни в благородную близорукость Рутмана.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИЛИ ШИРОТА ГОРИЗОНТА

Точка зрения редакции на дискуссию о евреях и еврейской проблеме в творчестве Александра Солженицына.

Следуя занятой нами позиции предоставлять страницы журнала для высказывания различных точек зрения на проблемы современного мира, мы публикуем статью профессора Марка Пераха "Факты или селекция образов?". Статья трактует ставшую уже одиозной тему: как и в каком свете изображены евреи у Александра Солженицына, является ли его подход объективно антисемитским или верный жизненной правде писатель опирается лишь на факты, отбирая их, быть может, с излишним пристрастием,

Несмотря на добрые намерения сохранить объективность и воздать должное Солженицыну, М. Перах оказывается в удручающе длинном ряду авторов, часть которых обвиняет писателя в скрытом или явном антисемитизме, другие, не менее горячо, защищают его от резких и, по их мнению, неоправданных нападок.

Тяжба евреев с русской литературой не нова. Феномен существует и не имеет прецедента в какой-либо иной литературе мира. У еврейства не было претензий в целом к немецкой или американской литературе, а образ Феджина не ставился Диккенсу в вину.

В то же время жестокость Гоголя, враждебность Достоевского, отчуждение Толстого или равнодушие Чехова ранили весьма больно и заставляли вступать в полемику. Солженицын не избежал этой участи.

Оставим анализ феномена как такового. Общественная позиция русской литературы, гуманистические ее устремления позволяли надеяться на сочувствие или хотя бы сдержанно-объективный подход к сложной еврейской проблеме. Подобного не произошло, и бессмысленно упрекать русских писателей за их пристрастие в выборе тех или иных образов, за их личностные и национальные симпатии или антипатии, которые трудно поддаются рациональному анализу.

Можно согласиться с Марком Перахом, что дарование само по себе еще не есть вакцина, предохраняющая от антисемитизма. Так же, как не существует вакцины, ограждающей художника

от творческих неудач. Возможно, поэтому отнюдь не все вызывает восхищение в творчестве Солженицына, и далеко не всегда ему сопутствует сердечная солидарность читателей.

Но какой логике следуя, мы столь упорно очерчиваем рамки дискуссии евреями и еврейским вопросом? Достойна ли такая дискуссия вообще больших и будоражащих проблем современного, тяжело больного общества? Предположим даже, что критики Солженицына правы и ему на самом деле не нравятся определенные черты еврейского национального характера. Но, что из этого следует? Не более того, что эти черты действительно вызывают у писателя антипатию. Возможно, правы те, кто утверждает обратное, но из этого также не следует ничего более, чем вероятное сочувствие Солженицына евреям и противостоянию Израиля арабо-советской агрессии.

Солженицын — замечательный писатель и выдающийся человек современности, но он только человек, и за ним остается право на человеческие слабости и национальные симпатии, даже если у нас, евреев, они вызывают чувство протеста и обиды.

Наш мир словно гигантской паутиной опутан национальной враждой и расовыми предрассудками. Устоять против них, по-видимому, не дано никому, даже большому таланту.

Но не переплавляется ли видение человеческих слабостей у Солженицына в нравственный критерий нашего к нему отношения? Не утрачиваем ли мы в этом случае широту взгляда, перенося точку обзора в наполненную еврейскими комплексами современную Касриловку?

А мир лежит вокруг нас в воинствующем зле и торжествующем насилии наглого, одевшего маску борца за социальную справедливость современного тоталитаризма. Этому злу и насилию всем нам — евреям и русским, раввинам и священникам, верующим и воспитанным в неверии — дано противостоять своей человеческой солидарностью. Перед лицом этого зла, попирающего нравственные основы жизни, у всех нас куда более общего, чем рознящего.

ВКУС И СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ

"Новый журнал", № 119, Нью-Йорк, 1975 г.

"Новый журнал" издается в Нью-Йорке с 1942 года. Его сегодняшней редактор Роман Гуль, автор многих биографических романов о русских деятелях различных эпох. Журнал дает место на своих страницах выразителям очень разных, часто даже полярных мнений, специально заботясь, чтобы ни одно суждение не повисало в воздухе, а было дополнено другим, позволяющим узнать иные грани явления, возможности иных оценок. В известной мере "Новый журнал" может быть назван наследником таких дореволюционных изданий, как "Русский Архив" и "Русская Старина". В центре внимания журнала — русский двадцатый век, дореволюционный, советский и зарубежный.

Есть большие и вечные русские темы: революция, сталинщина, война с фашизмом. Сколько ни говорить о них — исчерпать невозможно: так и норовят они из прошлого переместиться в будущее, из истории в повестку дня. И пока это так — темы эти закрыть невозможно не из одного только сердечного участия к замученным и погибшим.

"Новый журнал" открывается трагическим фрагментом Варлама Шаламова "Как это началось". Год 1938 был для Колымы воистину годом "великого перелома", когда каторжный лагерь планомерно был превращен в лагерь смерти, когда приисковские лагерь-города с многотысячным населением сплошь из зэков

превратились в гигантские трубы, по которым прибывавшие из России эшелоны перекачивались прямо в вечную мерзлоту.

Проекцией лагерной темы в сегодняшний день можно считать заметки бывшего ленинградского адвоката Юрия Лурье "На процессе ВСХСОН", рассказывающие о суде над "Всероссийским Социал-Христианским Союзом Освобождения Народа" в Ленинграде в 1968 году, когда не по поступкам, а по намерениям просветительский кружок был судим за военный заговор и когда, как это многократно бывало на Руси, суд и расправа изменили значение и масштаб небольшого самого по себе политического действия.

К военной теме журнал заходит не с одной, а с двух сторон: в повествовании Г.Андреева "Минометчики", которое будет продолжено в следующем номере, война показана с уже знакомой нам по советской литературе стороны — со стороны бытовых тягот и организационной бессмыслицы; но сверх того, есть еще мемуары К.Кромиади "Русская национальная народная армия", которые раскрывают перед нами страницы войны, вовсе не известные советскому читателю. Автор рассказывает о попытках организации армии сопротивления советской власти из русских военнопленных на оккупированных немцами территориях.

Воспоминания Е.Юрьевского (псевдоним Н.В.Вольского-Валентинова) — "Встречи с Плехановым в августе 1917 года" — открывают третью вечную тему — тему революции. С позиций нашего сегодняшнего опыта полезно увидеть эту пору язвительной и нетерпимой партийной распри, революционно-барского пренебрежения к не своему мнению, поверхностного актерства, но полезно и услышать справедливо и вовремя сказанные Плехановым слова об опасной роли Ленина в будущей судьбе русской революции. Мало ли и сегодня звучит не пророчество, а вполне реалистических предупреждений, которые в будущем смогут поразить нас пронизательностью на фоне сегодняшней всемирной беззаботности. Одним из таких предупреждений звучит в "Новом журнале" статья А.Авторханова "Европейская стратегия Кремля".

Сегодняшняя советская каждодневность представлена в журнале рассказом нового эмигранта А.Суконика, дебютировавшего в "Континенте" полуантисемитским рассказом "Мой консультант Болотин". Рассказу "Встреча с приятелем" нельзя предъявить никаких нелитературных обвинений. С литературной же точки зрения, он во многом напоминает рассказ о Болотине, хотя написан слабее — тех же щей да пожиже влей. Та же манера повествования, лишенная малейшей способности к пластике и только прикалывающая на одежды героев опознавательные значки: "еще тридцати нет, а уже защитил докторскую"; "Лиза, худенькая, маленькая женщина, постоянная читательница самиз-

дата"; "приятель лысоват и бреет голову" и т.п. В системе Суконика всякий разговор мыслится как поединок мелких самолюбий, как война, которая всегда объявлена с первым словом при начале разговора двоих, война с обходными маневрами, ложными отступлениями и скрытыми резервами. А повода к войне может никакого не быть. В этой системе у слова и жизни нет подтекста, то есть чего-то слишком тонкого, чтобы быть выраженным словом впрямую, и нет сверхтекста, то есть того главного, что не укладывается в слова, а лишь частично прорезается сквозь них. В этой системе за жизнью признается только изнанка, и автор с утомительной вездливостью занят выворачиванием швов.

Две статьи М.Раева и В.Пирожковой посвящены обсуждению сборника "Из-под глыб". М.Раев критикует программу личного усовершенствования каждого в одиночку, вне попыток каких бы то ни было совместных действий, видя в ней проявление "острого сознания полной и трагической атомизации народа". Сравнивая сборник "Из-под глыб" с его идейным предшественником, сборником "Вехи", М.Раев с огорчением отмечает утрату "идеи государственности, правового порядка и техники конституционно-демократической жизни". Благородная по духу и спокойная по тону статья В.Пирожковой опровергает основные положения статьи Вадима Борисова "Личность и национальное самосознание", видя в ней опасные черты возрождения идеи русского мессианизма. В.Пирожкова отрицает важный для В.Борисова тезис предвечной разделенности человечества на нации и наотрез отказывается видеть в этом разделении "один из уровней Б-жьего замысла о мире". Она указывает, что внимательное и непредвзятое чтение Св. Писания делает ясным, что Вавилонское смешение языков было послано людям в наказание за гордыню и, стало быть, явилось человеческим искажением Б-жьего замысла. Человечество вынуждено осуществлять себя и изживать трагическое национальное разделение в рамках самого этого разделения, но из этого еще не следует, чтобы им особенно стоило гордиться. Возражая сходным с мыслями Борисова утверждениям А.Солженицына (в его статье "Образованщина"), В.Пирожкова особенно не соглашается с приведением "чудодейственного рождения и укрепления Израиля после двухтысячелетнего рассеяния" в качестве примера в пользу моральной ценности нашего "века оживления наций" и делает это в следующих словах: "То, что Израиль будет восстановлен, обещал Г-дь, но никогда никакому другому народу таких обещаний не давалось. Так что чудодейственное восстановление Израиля — не самый яркий из множества примеров, а е д и н с т в е н н ы й , ни к какому другому народу н е п р и л о ж и м ы й феномен". В.Пирожкова убедительно показывает, что та полемика, которая ведется в сб. "Из-под глыб" А. Солженицыным с современными религиозно мыслящими

публицистами, пишущими под псевдонимами NN, Горский, Челнов, есть, по сути дела, полемика с хорошо известными утверждениями Н.Бердяева: "...ересь избранности в христианстве почти неизбежно должна была привести к дьявольской перверсии коммунистической России... Вот именно эту дьявольскую перверсию притязаний русского мессианизма и имеет в виду Н.Бердяев, когда проводит линию от Третьего Рима к Третьему Интернационалу". Замечательно окончание этой статьи, где Борисову делается упрек в недостаточном спокойствии, в отсутствии непредвзятости мысли. Да и откуда взять эти качества в напряженной и полной опасностей жизни, в которой вырабатывают свои мнения лучшие люди России?! И мало кто из нас свободен от привычки правоверного марксиста (или даже еретически мыслящего) хорониться за цитатой, а при надобности незаметно для себя толковать ее вкривь и вкось. Прокляты и отброшены марксизм, а привычка вьелась, осталась — знак недостаточного еще раскрепощения духа.

В разделе "Библиография" помещены небольшие рецензии на 15 книг. В поле зрения журнала современная русская литература, где бы она ни выходила в свет, историко-литературные работы, затрагивающие русскую проблематику, на русском и иностранных языках, мемуары и современные социологические исследования, посвященные России. Литературное русское зарубежье предстает в этом разделе журнала как область многообразной и насыщенной жизни.

Вкус, добросовестность и стремление к истине в соединении с умной редакторской мыслью делают "Новый журнал" чрезвычайно привлекательным для всякого, читающего по-русски.

Н.Р.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

"Грани", №97, Франкфурт-на-Майне, 1975 г.

Выходящий раз в квартал журнал "Грани" перешагнул в этом году свое тридцатилетие. Его редактор — Наталья Борисовна Тарасова. При многообразии материалов все же можно, кажется, выделить главный интерес, делающий журнал непохожим на другие русские зарубежные издания. Этот интерес — сегодняшняя русская действительность, преломленная через литературу.

Последний, 97 номер разнообразен и интересен. Однако я позволю себе выделить в нем только одно явление, чтобы иметь возможность остановиться на нем подробнее.

Нынешняя русская проза представлена в журнале повестью Е.Лобаса, уже и прежде, в №95, обратившего на себя внимание

интересным рассказом "Дальние родственники". Тот рассказ, с несомненно автобиографическим звучанием, сочетал в себе лирическую горечь с не злой, а, скорее, какой-то безнадежной иронией. Рассказ был о еврее из России, репатриировавшемся в Израиль. Подонок, бывший работник прокуратуры, ждал от него вызова. И герой рассказа лучше всех знал ему цену. Мучительный эпизод из военного детства героя, когда подонок из прокуратуры мог и должен был спасти попавшую в беду из-за неосторожно рассказанного анекдота девушку, но не спас, хоть и воспользовался ее беззащитностью и доверчивостью, — с замечательным художественным тактом вплетен в израильские и предотьезные киевские впечатления героя. В рассказе действуют почти исключительно евреи, и многие из них отталкивающе бездуховны и непотопляемо сильны именно своей животной мощью. Противостоящая же им духовность — герой-ребенок, его мать и девушка Юля, хрупки и бессильны перед напором зла. Им не суждено одерживать победы, — и отсюда и лиризм, и горечь авторского, от первого лица, повествования. Но зато и грубая сила может только сломить их, а изменить не может — отчего рассказ оставляет кроме ощущения боли еще и чувство чистоты и света.

Так имеет ли право герой-рассказчик взять на себя смелость и решить, каким евреям посылать вызов, а каких счесть недостойными переселиться в Израиль? Арестованный в Бабьем Яру, в камере он получает ответ на свой вопрос: "Израиль — это не голубая страна. Мы с вами любим ее, или должны любить ее, не потому, что Израиль лучше всех прочих стран, а потому, что мы с вами евреи... И разве мы с вами судьи и нам дано право решать: кто имеет, а кто не имеет права ехать в Израиль?" Конец рассказа дает представление о грустной сдержанности, определяющей манеру авторского повествования: "Стояла прохладная иерусалимская ночь; без звезд и без ветра, тихая и густая. Я обошел наш дом и пошел по дороге к невидимым сейчас холмам, которые спали, укрывшись до утра невесомым, темным покрывалом. Огни города оставались у меня за спиной, а впереди были только ночь и дорога, и, шагая по камням, я вспомнил берег Мертвого моря, пустыню, скалы, двух черных орлов и номер на руке незнакомой степенной дамы... И еще я вспомнил Юлю и маму и думал о том, как лежат они там, на январской стуже, в этой трижды несчастной русской земле... Эх, если бы я умел плакать — как в детстве!.."

Это рассказ, написанный на злободневную "еврейскую тему", такой, по сути дела, по моральному звучанию, по лирической интонации, — такой почти классический русский рассказ. И это облегчение от неразрешимой сердечной тоски в тишине ночного пейзажа, это завершение рассказа щемящей болезненной нотой

не заставляют разве вспомнить новеллистическую традицию, включающую в себя Тургенева и Чехова?

Тем неожиданнее новая встреча с Е. Лобасом в 97 номере "Граней", где напечатана до половины повесть "Раз в жизни", а окончание обещано в следующем номере. В этом, кстати сказать, большое неудобство поквартальных изданий: до окончания повести три месяца, и читатель раньше, чем дойдет до конца, имеет возможность позабыть начало. Критику рано оценивать повесть, судить о воплощении замысла и художественной структуре. Позволю себе только высказать несколько общих замечаний.

Повесть имеет надзаголовок, поскольку слова "Из цикла "Сонет-66" помещены раньше названия "Раз в жизни". Что это за цикл такой, заставляющий вспомнить о знаменитом шестьдесят шестом сонете Шекспира, переведенном в наше время на русский язык Самуилом Маршаком и Борисом Пастернаком, — определить пока невозможно. А начинается этот сонет (в версии Пастернака) так: "Измучась всем, я умереть хочу..." Не смешная эта повесть и вправду изображает жизнь до того беспросветную, что сбежать от нее — хоть бы и в смерть — кажется более сносным выходом, чем продолжать дальше. Манера автора на этот раз строго документальна: ни лирических взволнованных всплесков, ни язвительных преувеличений. Судите сами — вот приметы места и времени действия: "Они вышли вдвоем из полутемного вестибюля и, ослепленные ярким по осени днем, ступили с высокого райкомовского крыльца в дымящуюся, прогретую еще горячим октябрьским солнцем непролазную грязь тихого украинского села "Пивни", названного по чьей-то злой воле городом и районным центром лет десять тому назад..." Вот речь областного "хозяина", обращенная к районному руководителю, — точная, как стенограмма: "— Какая она тебе мать, наша Советская власть? Те, кому она мать (мать твою в рот и под ребра!), т р у д о м ! этот праздник встречают!!" А вот и, как в советских газетах пишут, "коммунизма зримые черты" в описании номера сельской гостиницы, приспособленного "для именитых приезжих и непоказных барских утех", "с двумя отдельными выходами, с ванной, теплой уборной (единственный во всем районе унитаз, но зато тоже чешский!)"... Это ж документальная проза! Где ж тут выдумка, гипербола, гротеск?! Какая уж там сатира! Типичная "натуральная школа", "физиологические очерки", если сравнивать с прошлым; а выражаясь сегодняшним языком, скучная "правда факта", которую не раз осуждала "Литературная газета", призывая писателей не отклоняться от героической и романтической "правды жизни".

Если ж получилась у писателя все же сатира, да еще такая, при которой реальная жизнь, того и гляди, обернется фантазматической (о чем свидетельствуют страницы, посвященные ордену-

носцу и большевику с шестнадцатого года персональному пенсионеру Усякину, одному из потомков "тридцати сыновей лейтенанта Шмидта", автору нескончаемых мемуаров и претенденту на звание "участника штурма Зимнего дворца и первых субботников"), — если ж, повторяю, получилась у автора сатира, то он в этом почти и не виноват. Просто зашел он к жизни не с того конца, с какого заходили до него бытописатели "районных будней", тоже ведь старавшиеся, по возможности и насколько позволял редактор, не исказить жизнь. Если бы Лобас в центр повести поставил монотонно-трудную жизнь подначального люда, жестокой и горькой вышла бы книга. Но внимание автора привлекли мелкие хозяева жизни: секретарь сельского райкома и юная помпадурша, его подруга, редактор замечательной районной газеты "Заря коммунизма", "даже не открывая которую, все знали, что в ней написано" — словом, районная номенклатура. Номенклатура малая, а все старается подражать номенклатуре большой, отчего еще до всякого к ней прикосновения литературского искусства в самой жизни заводятся пародийные черты. Люди, выбранные автором в герои повести, поставлены на свои посты не для труда, а для начальствования над жизнью. Это сообщает их существованию призрачные выморочные черты, а простую правдивую повесть о них превращает в сатиру. Мы же готовы поклясться, что редко читали более правдивую книгу и с нетерпением будем ждать продолжения.

Н.Р.



Фаина БААЗОВА

ПРОКАЖЕННЫЕ

Новый, 1938 год Тбилиси встречал необычайно теплой, солнечной и бесснежной погодой. В эти дни в городе царил особое, торжественное настроение. Создавалось впечатление, что люди соревнуются между собой в проявлении радости и хорошего самочувствия. Каждый старался свои новогодние хлопоты сделать очевидными для друзей, знакомых, соседей и особенно для сослуживцев, всем своим поведением подчеркивая беззаботность и безмятежность.

С утра и до поздней ночи всюду: на улицах, в домах и учреждениях — по радио слышались песни, восхваляющие "вождя народов" и его "верного и испытанного соратника" Берия. Особенно нескончаемыми были песни о нем Мингрельского хора. Поэты опережали друг друга в сочинении стихотворений, возносящих "подобного солнцу вождя" и славящих "саблю, вынутую из ножен" — Берия.

Главы из книги "Прокаженные".

Древние, прекрасные грузинские застолья превратились в арену идолопоклонства, где каждое слово, каждая песня служили выражением преклонения и безграничной благодарности "творцу счастливой жизни" — величайшему сыну Грузии.

Но за этим шумным и веселым миром был другой, внешне незримый мир, где не готовились к встрече Нового года, и ярко не горели люстры, и где горем убитые люди со страхом и трепетом скрывали свою трагедию.

То были тысячи семей лучшей части грузинской интеллигенции — из ее среды в течение 1937 года неожиданно для всех "исчезали" отцы и матери, сыновья и братья. И никто об их судьбе не знал ничего — где они и что их ждет. Человек исчезал из жизни, и даже близкие друзья, зачастую и родственники, старались отмежеваться от него и остерегались упомянуть его имя. Только раз устраивали "поминки" по исчезнувшему, и это происходило обычно по месту работы последнего. Вскоре после его ареста, по инициативе партийного руководства, устраивались "стихийные" общие собрания. Члены партии, а часто и верноподданные беспартийные выступали и каялись в том, что не проявили нужную бдительность, не усмотрели и вовремя не разоблачили в своих рядах "врага народа", который "опозорил" славный коллектив. Общее собрание, осудив "единогласно" "врага", который, возможно, десятки лет пользовался уважением и любовью общественности, требовало беспощадной расправы над ним, хотя никто не имел ни малейшего представления о совершенных им "преступлениях". Подобные митинги часто проводились в высших учебных заведениях, в Академии наук, в Союзе писателей, в министерствах и вообще всюду, откуда исчезали люди, одаренные на свою погибель умом и талантом.

Вначале, еще в 1936 году, аресты касались исключительно партийных оппозиционеров — "троцкистов", среди которых особенно много оказалось гурийцев —

"прирожденных оппозиционеров", как их называли в Грузии.

Затем за короткое время один за другим исчезли известные руководители партии. За ними последовало все правительство: Мамия Орахелашвили, Шалва Элиава, Лаврентий Картвелишвили, Папуна Орджоникидзе (брат Серго), Леван Гогоберидзе и многие другие...

Среди них были и такие, как Шалва Элиава и Буду Мдивани, которые совместно с Серго Орджоникидзе возглавляли 11-ю Красную Армию, положившую в феврале 1921 года конец существованию независимой Грузии, и первыми поздравили телеграфно Ленина с тем, что "над освобожденной Грузией реет красное знамя". После ареста Буду Мдивани многие ехидно посмеивались над его хвастливой фразой, сказанной накануне советизации Грузии: "Я Буду не буду, если в Тифлисе комиссаром не буду".

Старая грузинская интеллигенция исподтишка и не без злорадства наблюдала за междоусобицей среди "братев-коммунистов".

Разделавшись с ними, "карающий меч Павловича" опустил на головы тех, кто в прошлом состоял в какой-либо политической партии — федералистской, национал-социалистов, социал-демократов и других. Не был пощажён и глубокий старик, тяжело больной Саид Девдариани, который первым ввел Сталина в грузинский марксистский кружок "месамэ даси" и которого тот долгое время чтил и уважал как своего первого учителя.

Когда и этот запас был исчерпан, на очереди оказались люди, получившие образование или побывавшие в Европе. Один голый факт пребывания человека на Западе превращал его в "завербованного агента". По этому признаку исчезли из университета лучшие наши профессора — Сосо Нанейшвили, Серги Джапаридзе, Гиго Рцхиладзе, академик Г. Церетели и многие другие.

Затем началась охота на "вредителей". Таких оказалось очень много как в области культуры, так и во

всех отраслях народного хозяйства, тем более что "выявлять" их мог любой подонок и неудачник, которому казалось, что устранение работающего рядом с ним талантливого человека откроет ему путь к карьере.

Вспоминается, как осенью 1937 года, выездная сессия Верховного Суда Грузии, возглавляемая самим Председателем Верховного Суда Исакадзе, рассмотрела в Кахетии (в г. Сигнахи) дело "вредителей". В 1937 году это был единственный публичный судебный процесс по такого рода делам, когда на скамье подсудимых оказалась большая группа бывших партийных и советских работников. По этому делу привлекался также мой университетский товарищ, очень талантливый и образованный молодой адвокат — Шура Кобешавидзе.

В 1936 году он начал работать в Тбилисской Коллегии адвокатов, но вскоре переехал работать в г. Сигнахи, где в одиночестве проживали его мать и тетка, у которых, кроме него, на свете не было никого. Опубликованная в газетах обвинительная формула гласила, что адвокат Кобешавидзе совершал вредительство путем дачи крестьянам неправильной юридической консультации. По приговору суда он вместе с остальными осужденными был расстрелян.

Казенными защитниками на этом процессе была назначена группа молодых, появившихся на арене в начале 30-х годов, талантливых адвокатов, среди которых были мои приятели и сверстники. Старые, дореволюционные, блестящие юристы и одновременно политические и общественные деятели, такие, как Петр Кавтарадзе (брат ближайшего соратника Ленина Сережи Кавтарадзе), Исай Долуханов, члены Государственного Учредительного собрания Осико Мачавариани и Осико Бараташвили, "лев" адвокатуры Михаил Гвамичава, и многие другие были уже "ликвидированы". После процесса наши товарищи вернулись необычайно растерянные и напуганные. Под большим секретом они сообщили, что для гибели нашего друга и коллеги оказалось достаточно доноса одного местного невежественного и за-

вистливого адвоката по поводу вредительства в форме неверной юридической консультации.

Через несколько месяцев вся эта группа адвокатов исчезла бесследно так же, как и Председатель Верховного Суда Грузии Исакадзе.

х х х

Более спокойно и беззаботно в политическом отношении чувствовали себя грузинские евреи. Среди них не было князей, не было старых большевиков, как и видных меньшевиков или троцкистов, не было также и крупных партийных или государственных деятелей. Семья и родственники бывшего министра финансов грузинского меньшевистского правительства — еврея Иосифа Элигулашвили — давно находились в Париже вместе с грузинской эмиграцией. Среди грузинских евреев, правда, было много хороших врачей, инженеров, учителей, служащих, но они находились за орбитой грузинской общественной жизни и не так бросались в глаза. Наряду с еврейскими праздниками, которые они всегда и при любых обстоятельствах отмечали торжественно и в неизменно установленных с древних времен формах, они особенно любили встречать Новый год и сейчас, предвкушая веселье, готовились к новогодней встрече.

х х х

Второго января отец уезжал по делам службы в командировку в Москву на две недели. Провожать его на вокзал поехали мы с Герцелем.

Скорый поезд Тбилиси-Москва уходил днем. Как обычно, провожающих было очень много. Некоторые пришли проводить своих друзей или родственников прямо с новогоднего стола — с бутылкой "Грузинского шампанского" в руках и бурно выражали свои новогод-

ние пожелания. Мы с Герцелем с трудом вырвали отца из объятий знакомых и посадили его в купе международного вагона.

Прощаясь, Герцель снова стал умолять отца быть осторожным в дороге, а в Москве воздержаться от встречи "кое с кем". Отец улыбнулся в усы своей неповторимо мягкой, чуть лукавой и многозначительной улыбкой и еще раз крепко обнял нас.

Легко было сказать отцу — будь осторожен! Это было равносильно сказать человеку — "не дыши!" Мы великолепно знали, что он, бывая в разных городах России, а в особенности в Москве, продолжал контакты и встречи с еще уцелевшими после разгрома Московского "центра" и арестов Кугелем, Каминским и другими, продолжающими подпольную деятельность сионистами.

И хотя уже был получен сигнал из Москвы о провокаторской роли Саши, отец по-прежнему продолжал бывать в домах, где появлялся Саша Гордон. Встречаться с товарищами и получать литературу "оттуда", следить и знать, что происходит "там", — было сейчас его "дыханием", никто и ничто на свете не могло его заставить не делать того, что еще было возможно делать.

Когда поезд отошел и последний вагон скрылся из виду, Герцель вздохнул с облегчением и, повернувшись ко мне, сказал:

— Ты представить себе не можешь, как я рад, когда папа уезжает из города. Вот и сейчас — я так рад. Эти две недели я могу спать и работать спокойно. Я часто думаю — если бы можно было упрятать его подальше от Грузии...

— Но куда и насколько времени? И кто может знать, сколько "это" продлится и где безопаснее? — спросила я.

— Да, понимаю, что это невозможно. Но когда он в городе и ходит по тбилисским улицам — мне как-то неспокойно на душе, и я очень боюсь за него. Будем надеяться, что Новый год рассеет все наши тревоги...

Тревога... тревога... Глядя на этих шумных людей на перроне, трудно было представить, что испытывал почти каждый из них, несмотря на внешнюю беззаботность и веселое настроение.

Тревожился и Герцель. Но тревога его касалась исключительно отца. О себе он совершенно не беспокоился.

Ему недавно минуло 33 года. А звезда его горела очень ярко. Он начал печататься рано. Уже в 20-х годах в грузинских литературных журналах и газетах, отдельными изданиями появились его произведения. Ему принадлежали повести, романы, пьесы, критико-публицистические статьи по вопросам литературы и искусства. Среди них большой известностью пользовались роман "Петхайн", переведенный в 1936 году на русский язык и изданный в Москве под редакцией Виктора Гольцева, а также повести "Конец Гелатской улицы", "Последнее слово Шемария", пьесы "Хагаи", "Феликс Рихтер", "На развалинах Ахасаули", "У Черного моря" и многие другие.

Особенную популярность среди грузинских зрителей создали ему пьесы "Немые заговорили" и "Ицка Рижинашвили", в постановке театров имени Марджанишвили и Кутаисского имени Ладо Месхишвили. Режиссер Додо Антадзе теперь их ставил в Армянской ССР. В театре Юного зрителя ставилась его пьеса "Крапива", а в театре имени Марджанишвили полным ходом шла репетиция спектакля "У Черного моря".

Во всех ведущих газетках и журналах публиковались блестящие рецензии на его произведения.

Часто на проспекте Руставели можно было слышать, как молодые грузины распевают куплеты из сцены "селихот" в спектакле "Ицка".

Он был любим одновременно и еврейской, и грузинской общественностью.

Он был одним из основателей и первым председателем драмсекции Союза писателей Грузии.

Он часто возглавлял делегации писателей в Москву, в Союз писателей СССР.

Еврейские театры Москвы и Витебска готовились к постановкам его пьес.

В глазах грузин он обладал совершеннейшим иммунитетом против свирепствующей "чумы", все больше поражающей и сердце, и мозг грузинского народа. Он не был ни меньшевиком, ни троцкистом, ни потомственным князем, ни ответственным работником, никогда не бывал за границей и не мог быть "завербован там".

Первый и единственный писатель из среды грузинских евреев, пришедший в большую грузинскую литературу со своей еврейской темой, болющий душой за культурное возрождение отсталого грузинского еврейства, — Герцель вызывал восхищение, любовь и уважение.

Уверенность в неуязвимости Герцеля еще больше окрепла после событий, происшедших с группой грузинских писателей после того, как Грузию посетил Андрэ Жид. Это было осенью 1936 года, когда французский писатель Андрэ Жид был в Советском Союзе.

После блестящего приема в Тбилиси руководители республики пригласили его на один из красивейших курортов Грузии — Кобулету, где была устроена встреча с отдыхающими там известными грузинскими писателями и поэтами. В это время в Кобулету жил и Герцель. Он работал над своей последней пьесой "У Черного моря", и на банкете, устроенном в честь французского писателя, в числе других писателей находился и он. На этой встрече были такие известные и прославленные мастера слова, как Михаил Джавахашвили, поэт Тициан Табидзе — ближайший друг Бориса Пастернака, любитель подлинных ценителей поэзии не только в Грузии, но и в России, Паоло Яшвили — один из талантливейших поэтов Грузии двадцатого столетия, веселый и жизнерадостный, великолепный охотник, остроумный и искусный тамада.

Вскоре после отъезда Андрэ Жиды начали "брать" одного за другим писателей — участников встречи. После ареста Михаила Джавахашвили и Тициана Табидзе, не дожидаясь своей очереди, покончил с собой Паоло Яшви-

ли. Он застрелился из охотничьего ружья в холле дворца Союза писателей в Тбилиси в тот момент, когда в зале "прорабатывали" уже арестованных писателей. У изголовья спящей маленькой дочери он оставил записку: "Если я не сделаю этого сегодня, завтра ты будешь еще несчастнее".

Из числа участников этой трагической встречи уцелел только один Герцель. Друзья, поздравляя его, утверждали, что он родился в счастливой рубашке.

Они не знали, что этому счастливцу тревога за отца не давала ночами спать.

х х х

В эти дни в доме у нас царила суета. Я собиралась выйти замуж за ленинградца А. С. Эпельбаума, и вся наша семья была охвачена волнением и хлопотами. Все были счастливы и рады этому событию, но моим близким было трудно мириться с мыслью, что я уеду так далеко. Особенно тяжело переживал это отец, который не мог представить себе, что его Фани уйдет из дома. И хотя мое пребывание в Ленинграде нами планировалось всего на один-два года, после чего мы с мужем должны были переехать в Тбилиси, горечь разлуки, даже временной, делала все свадебные приготовления не особенно веселыми. Да и письма из Ленинграда были полны тревог и беспокойства. В них мой жених умолял меня закончить поскорее все дела и выехать. Обычно трезвый и рассудительный, веселый и жизнерадостный, каким я его знала в течение вот уже полутора лет, сейчас он с каким-то суеверным страхом утверждал: "Мне кажется, что скоро стряется что-то и я потеряю тебя". Быть может, в другое время и в других условиях подобное пророчество вызвало бы у меня только улыбку. Но сейчас, в условиях тбилисской действительности и в связи с охватившей нас тревогой за отца, подобные письма настраивали далеко не на веселые раздумья.

Между тем до отъезда в Ленинград мне еще предстояло закончить ряд находящихся в моем производстве уголовных дел, которые после окончания стажировки и после ареста моего патрона — Михаила Гвамичава — я вела уже самостоятельно.

В то же время я должна была закончить собирание материалов для нашего "Историко-этнографического музея", где я и наш старший товарищ Давид Шаптошвили готовили экспозицию на тему: "культурно-правовое положение евреев Грузии в царское время". Мне приходилось ездить по разным городам Грузии, там в архивах и частных домах можно было выявить большой и интересный материал.

В это время в Ленинградском Государственном Этнографическом музее заведующий еврейским отделом Пульнер готовил к лету 1938 года большую выставку — "Кавказские евреи", и наш музей поручил мне помочь ему в организации экспозиции — "грузинские евреи". Для этого необходимо было собрать литературный материал и отобрать экспонаты, чтобы взять их с собой в Ленинград. И это требовало времени.

х х х

В Москве Соломон Михайлович Михозэл готовился ставить пьесу Герцеля "Ицка Рижинашвили". Герцель, по приезде отца, намеревался поехать в Москву, где вместе с Михозэлсом и Самуилом Галкиным должен был подготовить специальный вариант для еврейского театра.

Было решено, что Герцель в Москве будет дожидаться нашего приезда, откуда вместе с проживающим там младшим братом Меером и его женой Доцей они выедут с нами в Ленинград.

Пока он по горло был занят общественными и литературными делами. Ежедневно присутствовал на репетициях пьесы "У Черного моря" в театре имени Марджа-

нишвили. Он носился с мыслью написать исторический роман периода разрушения второго Храма и прихода евреев в Грузию. Он много работал, чтобы собрать исторический архивный материал. Он говорил, что третью книгу "Петхайна" он напишет не скоро. Его героям все труднее становится жить, и он решил отправить их в "длительный отпуск". Ближайшие же годы он думал целиком и полностью посвятить работе над историческим романом. Мечтал — первую книгу послать Л. Фейхтвангеру для "переклички".

20 января отец вернулся, а 22-го Герцель уехал в Москву.

Время шло. Наступил уже март, а мы все еще не смогли собраться.

Мои судебные дела затягивались. По одному делу в Кахетии перед самым началом процесса неожиданно арестовали председательствующего. По другому делу в Кутаиси, в середине процесса, вдруг "исчез" прокурор. Приходилось процессы начинать с начала в новом составе.

Наконец мои дела были закончены, и я оформила уход из Грузинской Коллегии адвокатов.

Поездка была назначена на 12 апреля, о чем мы известили Герцеля и Меера телеграммой.

В начале апреля, перед тем как сдать музею весь собранный мною материал, мы с Давидом Шаптошвили решили просмотреть его еще раз. Мы пришли в музей вечером, когда там никого не было. Я достала из чемодана все собранное мной за полтора года. Это были газеты сионистской организации "Хма эбраелиса" ("Голос еврея"), речи меньшевистских лидеров в Учредительном собрании по еврейским вопросам, полемика отца с противниками, статьи Герцеля против ассимиляторов, документы об организации культурно-националь-

ного общества "Тарбут", большое количество фотоматериалов и многое другое.

Когда мы взглянули на всю эту груду материалов, мы вдруг испугались: собранные вместе эти материалы вдруг стали угрожающими. В первую очередь бросалась в глаза фигура отца — страстного и неутомимого борца, разворачивалась картина его широкой общественной деятельности начиная с 1904 года. "Уличались" во многом Герцель и многие другие товарищи, в том числе и сам Давид Шаптошвили.

В это время в Грузии "еврейское небо" было совершенно чистым. Даже аресты некоторых русских евреев — крупных партийных и государственных работников, например, Абрама Линецкого — ответственного работника НКВД и председателя правления "Грузевкомбеда" (комитет бедноты грузинских евреев), или редактора газеты "Заря Востока" — Маркмана и других, нигде и никем не увязывался с "еврейским вопросом". И хотя еврейский характер деятельности еще не представлял улику для обвинения, мы были сильно встревожены. Материал, который мало кто помнил и вообще мало кто знал о его существовании, мог кого-нибудь из числа работников музея, в особенности членов партии, надумать на "что-нибудь".

Весь вечер обсуждали мы судьбу этих материалов. Тревожился Давид Шаптошвили, и преследующий меня за последние месяцы безотчетный страх вдруг стал ощутительным. И мы решили — сдать музею только совершенно безобидный материал, в том числе и фотодокументы.

Отобрав все, содержащее в себе "криминал", мы развели огонь в стенной печи и в этот очень теплый апрельский вечер предали крамолу огню.

Было очень больно испепелить то, что с большим трудом было собрано в частных домах или добыто из архивов. Но я успокаивала себя: многие из этих материалов по одному экземпляру имелись в архивах у Герце-

ля или у нас дома, и в будущем можно будет снять с них копии.

Мы договорились не рассказывать об этом ни одной душе на свете. Директор музея — Арон Крихели вообще знал, что я собираю материал, но мы не отчитывались перед ним, и что конкретно мною собрано ему было неизвестно. Он был ревностным собирателем еврейской старины, фанатично любил музей, но тогда он для нас прежде всего был членом партии. В прошлом он не был связан с нашими сионистскими кругами, и поэтому мы сочли за лучшее как в наших, так и в его интересах не посвящать его в эту тайну.

Был уже первый час ночи, когда мы ушли из музея. Над крышей здания стоял густой дым, который медленно развеивался вокруг.

Впоследствии это "аутодафе" стало для меня предметом тяжких и мучительных раздумий...

Неожиданно для всех жена Герцеля Софа заупрямилась и отказалась ехать с нами в Ленинград. Герцель из Москвы умолял уговорить ее. Но никакие просьбы не помогли, она не изменила своего решения. Это неприятно поразило нас. В течение семи лет, с тех пор, как она была нашей невесткой, мы втроем — с нею и с Герцелем — разъезжали по стране и постоянно всюду бывали вместе. Обычно очень нервная, но всегда веселая, жизнерадостная и оживленная, последнее время она была раздражена и придиричива к Герцелю.

В день нашего отъезда, на вокзале, она выглядела настороженной и угрюмой. Оставив возле вагона многочисленных друзей и близких, приехавших проводить меня, я до самого отхода поезда гуляла вместе с ней подалее от перрона, пытаюсь смягчить ее. Она высказывала недовольство тем, что Герцеля окружает все больше и больше "поклонников и поклонниц". Не нравилось ей, что он в последнее время так "головакружительно

идет в гору". Я искренне убеждала ее в необоснованности и бредовости ее нездоровых подозрений.

Прощаясь со мной, она сказала:

— Я знаю, Герцеля я не удержу. Но запомни — ни одной другой женщине на свете он не достанется.

Наверное, слова эти были сказаны бездумно, в состоянии болезненной горячности. Но меня поразила в них такая скрытая желчь, что они запали мне в душу. И я запомнила на всю жизнь и этот вечер на перроне, и эти слова, которые сбылись так трагически...

x x x

В Москву мы прибыли 15 апреля. На Курском вокзале нас встретили Герцель, Меер с женой и близкие друзья. Не останавливаясь в Москве, мы выехали прямо в Ленинград.

Герцель выглядел очень счастливым. Он рассказывал о своих литературных делах в Москве. Всю дорогу отец и братья веселились, остряли. Мама молча глядела на нас и казалась грустной.

Семья Эпельбаум жила в большой просторной квартире в одном из прекрасных домов на улице Герцена, недалеко от гостиницы "Астория". Дома у А. С. Эпельбаума были: его мать, Рахиль Абрамовна, давно овдовевшая женщина, очень умная, энергичная и собранная) младшая сестра — Ирина, красивая и образованная девушка, она готовилась поступать в медицинский институт; старая, худая и косая на оба глаза тетка, вырастившая племянников и преданная им до самозабвения. Старший брат — Зиновий, врач, жил с семьей на Севере. Семья, как большинство ленинградских еврейских семей в то время, стояла на пути ассимиляции.

17 апреля отец устроил хupu в присутствии исключительно верующих евреев. Он сам написал "кетубу" и сам прочел.

В этот день отец был особенно взволнован. Сколько еврейских девушек и парней он венчал и благословил в своей жизни и сколько из них были по-настоящему, по-человечески счастливы! А сегодня он венчал свою дочь, для которой всеми фибрами души хотел вымолить счастье у Всевышнего. Бедный папа! Мог ли он в тот светлый для него день подумать, что ни одна из благословленных им девушек не стала в жизни столь несчастной, как его любимая дочь.

Отец и Герцель устроили бурную и веселую свадьбу. Утонченные, сдержанные и немного холодные ленинградские гости были поражены и восхищены характером застолья. Владея до совершенства искусством тамады, Герцель в тот вечер превзошел себя. Даже ядовитые замечания Меера приводили всех в восторг. В такой необычной для наших ленинградцев обстановке не удивило их даже появление на свадьбе крупного чекиста из Управления НКВД Ленинградской области — Давида Петровского.

Отдыхая несколько лет назад где-то в Сочи или Кисловодске, отец встретил там этого Петровского, который навсегда стал его "пленником". Такое с отцом бывало часто. Он какими-то неведомыми путями угадывал в еврее, давно позабывшем о своем происхождении, наличие на дне его души каких-то "залелей еврейской породы" и умел их раскапывать так, что человек вдруг до боли остро начинал чувствовать свое еврейство. Из такой породы евреев и был Петровский. Будучи порядочным и честным человеком, он очень трагично воспринимал все происходящее в этот период в Ленинградской области и, не имея возможности вырваться из заколдованного круга, в конце концов был раздавлен и уничтожен этим "происходящим".

Пришел поздравить меня обаятельный академик Василий Васильевич Струве, с которым со времени "Руставелевских дней" в Тбилиси у нас установились приятельские отношения и который взял шефство над нашим музеем. Высокий, толстый, с белой шевелюрой и серыми.

по-детски добрыми глазами, он всегда очаровывал своей мягкостью и приветливостью. Он пришел, неуклюже держа под мышкой коробку любимых им конфет "Мишка на севере" необычайно больших размеров, что вызвало всеобщее оживление и смех, — никто не видел в продаже коробку конфет подобной величины.

— Сделали по особому благу, — с хитрецей шутил он.

Когда был провозглашен тост за еврейский народ, он долго говорил о героизме и мужестве древних евреев и между прочим сказал: "Как жаль, что сегодня этот народ уподобился некой даме, которую, хотя и приняли в высший свет, но о ее прошлом неудобно говорить".

x x x

20 апреля Меер с женой уехали в Москву, отец — в Тбилиси, Герцель — в Витебск, а маму мы задержали в Ленинграде до возвращения Герцеля из Витебска в Москву.

Дни пробежали быстро. Днем мы с мужем показывали маме город, а вечером принимали запоздавших поздравителей.

24-го утром Герцель позвонил из Москвы. Сообщил, что читка пьесы в Витебске прошла блестяще и театр заключил с ним договор. Просил отправить маму, так как уже заказал билеты на 26 апреля.

25-го в 11 часов вечера мы с мужем посадили маму в скорый поезд "Красная стрела", который прибывал в Москву в 8 часов утра.

Вернувшись с вокзала домой, я позвонила Герцелю в гостиницу и сообщила ему о выезде мамы, номер вагона и место. Он сказал, что утром Меер зайдет за ним и они вместе встретят маму. Из номера доносился шум и смех.

— Это Михоэлс и Зускин спорят! — шутил Герцель. Потом я услышала голос Михоэлса. Со свойствен-

ной ему теплотой он еще раз поздравил меня и сказал, что, закончив работу, они пойдут ужинать в ресторан и там много, много раз будут пить за мое счастье, за "мазалтов".

Трубку берет снова Герцель. По интонации чувствую, что он возбужден. На мой вопрос: "Что случилось?" — он успокаивает меня: "Ничего, просто тоскую по Натану, ровно три месяца не видел, не дождусь. Сегодня вместе с Меером закупили массу игрушек. Как приеду в Тбилиси, постараюсь сплавить папу к тебе. Это будет лучше всего... удержи его дольше, понимаешь?.."

... Не успела ответить, разговор оборвался. Все старания оказались безуспешными. Прошло больше часа — связаться с Москвой не удалось.

Следующий день, 26 апреля прошел в каком-то безотчетном, смутном беспокойстве. Где-то далеко подсознательно точит вопрос — почему не звонит Меер?

На рассвете 27 апреля я во сне почувствовала, что в комнате шепчутся. Стараюсь проснуться. До сознания доходят слова: "Не надо пока говорить, поезжай ты, может, ничего серьезного". Открываю глаза. Посредине комнаты стоят муж и свекровь. Лица озабоченные. У нее в руках телеграмма. "Молния" из Тбилиси, от Софы. Читаю: "Мама попала под трамвай немедленно выезжай Москву".

Стараюсь сообразить — как могла мама попасть под трамвай?! С вокзала ее отвезли бы сыновья на такси, в крайнем случае, на метро. От Ленинградского вокзала до гостиницы "Москва" трамваи вообще не ходят. И почему телеграмма из Тбилиси, от Софы? Почему не от отца, Хаима, Герцеля или Меера?..

Вдруг где-то внутри резануло подозрение — случилось другое, о чем отец и братья воздержались известить меня.

Кидаюсь к телефону, вызываю Меера. Очень скоро кто-то берет трубку... перед глазами прыгают слова из телеграммы: "Мама попала..." Я спрашиваю: "Где Герцель?.." С другого конца провода доносится неузнаваемый, мертвый, далекий, как из могилы, голос Меера: "Приезжай сюда".., а затем короткие гудки... Теряю ощущение реальности, действительность кажется прошедшим сном, с которым ушла молодость...

На второй день утром я стою у дверей квартиры Меера в Оболенском переулке. Звоню дрожащей рукой... Что я узнаю?

Дверь открывает теща Меера. Увидев меня — убегает. Вхожу в комнату. Окаменевшая мама, без всяких следов трамвайной катастрофы, сидит в углу, в глазах застыл ужас. Рядом стоит Меер — мертвенно-бледный, с потухшими глазами. Как они не похожи на тех, какими они были в той, уже прошедшей, как сон, жизни.

Сдавленным голосом Меер рассказывает: 25-го поздно ночью Герцель позвонил ему и сообщил о выезде мамы из Ленинграда. В 7 часов утра 26-го он заехал за Герцелем в гостиницу, чтобы поехать вместе на вокзал. Номер оказался наглухо закрытым. На все вопросы работники гостиницы отвечали: "Выбыл в ночь с 25 на 26 апреля". Так зафиксировано в журнале. Большого добиться от этих людей-машин невозможно.

Время истекало. Меер поехал на вокзал, встретил маму и привез ее к себе домой, а сам вернулся в город и начал поиски Герцеля. В первую очередь разыскал Михоэлса, который вместе с Зускиным был у него последним. Михоэлс, узнав о таком странном исчезновении Герцеля, был потрясен. По его словам, после телефонного разговора с Ленинградом они втроем спустились в ресторан. Около двух часов ночи он и Зускин проводили Герцеля до номера и там попрощались с ним. Он убежден, что произошло какое-то недоразумение или несчастный случай.

Меер обошел все больницы города, все отделения милиции, но вот уже два дня прошло, и он не смог установить, каким образом в центре Москвы из гостиницы так бесследно исчез Герцель.

Я решила пойти в Союз писателей. Там должны знать или узнать, что произошло с писателем.

Через час я с Меером в приемной Ставского. Самого его еще не было. Встретили Виктора Гольцева, Валерия Кирпотина, с которым Герцель дружил. Узнав о происшедшем с Герцелем, все волнуются. Потом приехал Ставский. Писатели заходят к нему вместе с нами. Ставский поражен. Начинает звонить в гостиницу, в угрозыск города Москвы — одно и то же: никто ничего не знает. Все очень озабочены, но решительно никто не допускает мысли об аресте. Успокаивают, убеждают, что очень скоро все разрешится благополучно. Мы легко поддаемся этим убеждениям и продолжаем поиски по всем мыслимым и немыслимым местам.

Так прошло еще два дня.

30-го утром мы с Меером решились. Идем на Кузнецкий мост — в справочную НКВД СССР.

У форточки масса народу. Занимаем очередь молча. Никто ни с кем не заговаривает. Медленно подвигаемся к форточке. Колени все больше дрожат, сердце стучит все сильнее. Форточка то и дело открывается и закрывается. Людей перед нами становится все меньше и меньше. Наконец форточка открылась передо мной. Называю фамилию... Спрашиваю, форточка опускается. Проходит несколько минут... а может, вечность... хлопает форточка... Тупая холодная морда произносит оттуда: "Не ищите, он у нас".

Все... оборвалась последняя ниточка надежды. Стараясь сдвинуться с места. Какая длинная очередь за нами, но она вдруг закачалась и пошла зигзагами... чувствую, как Меер хватается меня крепко и идем к двери.

Выходим и долго молча шагаем по Лубянке. Уже в который раз обошли огромное здание, и мы не можем

произнести вслух, что Герцель там... внизу... в подвале.

На площадях шумно. На высокие здания вешают огромные портреты вождей. Москва готовится к празднику 1 Мая 1938 года.

Вечером я выезжаю в Ленинград. В поезде у всех настроение праздничное. Всем весело. Русские очень любят майские праздники. В вагоне много военных.

х х х

"Красная стрела" мчится, не останавливаясь на станциях. В северную весеннюю белую ночь в окне, как на светлом экране, мелькают знакомые пейзажи. Тяжелые, как свинец, слова "он у нас" сжимают сердце. Мысли путаются. Что произошло с Герцелем? Откуда нанесен удар — из Тбилиси? Но по правилам Грузии брали из дому, в присутствии родных. И почему при таких таинственных обстоятельствах, что администрация гостиницы была не в состоянии объяснить, как пропал он ночью из номера с вещами, рукописями и детскими игрушками? Что будет с отцом? Как перенесет он этот страшный удар, чреватый разрушить весь его крепкий дом?

Вдруг из памяти выплыла другая прошлогодняя ночь 30 апреля. Ровно год назад, в ту ночь Герцель, я и Софа выезжали из Москвы в Ленинград. В вагоне среди пассажиров была очень красивая и веселая цыганка, кажется, актриса цыганского театра. Она гадала на картах, и многие пассажиры — мужчины, шутя и развлекаясь, просили ее "отгадать" их будущее. Герцель, как и отец, терпеть не мог карт, никогда в них не играл, и дома у нас их никогда не бывало. Он пренебрежительно посмотрел на красивую гадалку, вошел в купе и начал читать книгу. Определив мужчинам "очень интересное" будущее, цыганка почему-то вдруг пожелала "отгадать" и мое будущее, хотя я не проявляла к ней никакого интереса. Я, как почти все члены нашей семьи, всегда отно-

силась к такого рода глупостям почти с отвращением. Но общее веселье, ее обаяние и игривость настроили меня на шуточный лад, и я согласилась.

Проделав один "сеанс" цыганка сказала: "Не вышло" — и начала во второй раз. Она стала работать серьезнее, и почти про себя проговорила: "Это ошибка", и начала тасовать карты уже в третий раз.

Серьезность гадалки еще больше развеселила меня, и я начала смеяться над ее талантом.

Вдруг рассердившись, цыганка бросила мне: "Вот вы издеваетесь, а карты три раза показали вам одно и то же: дороги, дороги долгие и... слезы... слезы".

Все рассмеялись. Никто всерьез не отнесся к мрачным предсказаниям гадалки, но ни она сама, ни пассажиры больше гадать не пожелали.

Вместе с цыганкой из памяти выплыли и последовавшие за той ночью семь майских дней, которые мы провели в Ленинграде. В это время там белые ночи, особенно "белые". Когда мы обычно входили в театр — солнце еще сияло, когда выходили — около 12 часов ночи, — было уже светлое утро. Мы с Герцелем, Софьей и моим будущим мужем целыми днями заново осматривали и Эрмитаж, и музеи, и картинные галереи, а когда усталые возвращались к себе в гостиницу, Герцель, торопя нас в театр, отпускал мне и Софе всего 20 минут на переодевание. После такой гонки в течение дня мне было трудно ходить в новых модных туфлях, узких, на очень высоких каблуках, и он совершенно серьезно говорил мне: "Надень тапочки — здесь не Они".

В эту апрельскую ночь 1938 года те дни кажутся далеким прошедшим сном, а выплывшая из забвения красивая цыганка навязчиво преследует меня — "дорогие-долгие... слезы!.."

В расчете на более длительное пребывание 3-го мая я снова выехала из Ленинграда в Москву.

Из Тбилиси сообщали, что отец все еще лежал в больнице после тяжелого сердечного приступа.

После того как в Москве официально был подтвержден арест Герцеля, мы сразу же оказались там за бортом жизни. Друзья, близкие и знакомые, за маленьким исключением, вдруг нас "забыли". Люди, которые так любили Герцеля и так тесно окружали его, перестали звонить и спрашивать о нем. Ды мы и сами с Меером хорошо понимали, что нам самим следует изолироваться от людей, и без крайней необходимости никому не звонили и мало с кем из друзей виделись.

Помню, как был напуган и неприятно поражен Самуил Галкин, когда я ему позвонила по телефону и спросила о судьбе сделанных им переводов двух вариантов пьесы Герцеля. Всего несколько дней назад он вместе с Герцелем и Михозлсом окончательно их отредактировал, и они, по моим вполне обоснованным соображениям, должны были находиться у него. Он поспешил ответить, что весь материал остался при Герцеле и, "к сожалению, больше добавить ничего не может". Он сказал это таким холодным и категорическим тоном, что возможность повторного звонка к нему совершенно исключалась.

В первую очередь я решила установить — за кем числится Герцель — за грузинским или союзным НКВД. Поэтому я шла от Низших до высших спецпрокуратур. Днями простаивала я в очередях за "справкой" в прокуратурах Москвы, затем РСФСР и наконец Союза. Всюду я получала один и тот же ответ — "за нами не числится".

Вечерами, когда Меер возвращался с работы, мы с ним составляли ходатайства на имя Генерального Прокурора, Наркома Внутренних дел Ежова и "отца и учителя". У нас было основание полагать, что "вождь" знал о Герцеле.

Еще в 1935 году Герцель, в процессе работы над "Ицка Рижинашвили" посетил Под Москвой на своей даче брата первой жены Сталина — Алешу Сванидзе, который был близким другом Ицки, они вместе учились и вместе

участвовали в революции 1905 года. Сванидзе принял Герцеля очень тепло, был тронут его стремлением оживить образ его друга и дал ему много ценного материала. Герцель тогда ему преподнес свой роман "Петхайн". Сванидзе сказал Герцелю, что об этой книге ему известно от Иосифа Виссарионовича, который читал ее и советовал также ему прочесть ее.

Прошло уже две недели, и все оставалось глухим и непроницаемым. Мне пока не удалось установить, "у кого" Герцель.

И вдруг 25 мая из Тбилиси сообщили, что Герцеля привезли туда и просили, чтобы я вернулась в Ленинград.

В Ленинград я приехала для того, чтобы привести в порядок кое-какие семейные дела, а затем уехать в Тбилиси.

Утром 5 июня в Тбилиси я сошла с московского поезда. Меня никто не встретил. Я никого не известила о приезде. В то время в Тбилиси такси еще не было. Я взяла извозчика и назвала адрес.

Когда я ехала по одной из нелюдных улиц, мой взгляд вдруг привлек столб с афишами. Мне бросилась в глаза одна, на которой еще издали можно было прочесть напечатанное крупными буквами — "ИЦКА РИЖИНАШВИЛИ". Странно! Неужели за два с лишним месяца не должна была выцвести афиша и потерять свой первоначальный блеск? Или ее не смыли, чтобы наклеить другие, новые. Мне вдруг захотелось подойти и пощупать афишу. Я попросила извозчика повернуть и остановиться. Подхожу близко. Сомнений нет — афиша свежая. Она датирована 2-м июня 1938 года. И все тут ясно сказано: театр имени Марджанишвили, название пьесы, время начала спектакля, фамилии ведущих актеров... и все. Еще раз осматриваю афишу, замечаю — не указана фамилия автора.

Я потрясена! Что это значит? Герцель... там внизу, а в театре позавчера шла его пьеса. Подобного прецедента в Грузии не было. Это явление не укладывалось ни в какие рамки нашей действительности.

С глубоким волнением открываю дверь нашей квартиры. Меня не ждали. Отец, увидев меня, вдруг зарыдал. Это потрясло меня, как всех остальных. Дома никогда и никто не видел отца плачущим. В самые тяжелые минуты он бывал наиболее спокойным и собранным.

Правда, в детстве мне приходилось слушать, как отец в Йом-Кипур, вечером перед "неилой" или в особенности в день девятого аба, рыдал в синагоге. Но то был не папа, а кто-то другой, какой-то дух, закутанный в белый талет, и в его голосе слышался плач народа и пророков с такой силой, что вслед за ним рыдали не только все находящиеся в синагоге мужчины и женщины (часто и неевреи), но казалось вторят ему и каменные стены, и свод высокого здания синагоги, и эхо, которое раздавалось в опоясывающих нас горах.

Домой же снова приходил наш ласковый и мягкий папа.

Отец быстро взял себя в руки. Все остальные: мама, бабушка, маленькая сестра, прибежавший Хаим — казались очень взволнованными. Спрашиваю насчет афиши — что произошло?

По их рассказам я узнала, что в Тбилиси реакция на арест Герцеля была необычной. Когда Председателю правления Союза писателей Кандиду Чарквиани (вскоре он сменил Л. Берия на посту Первого секретаря ЦК компартии Грузии) доложили, что в городе пошли слухи об аресте Герцеля в Москве, он ответил, что считает эти слухи провокационными, так как не допускает подобное. Никто в это не может верить. Когда же факт ареста подтвердился, многие стали открыто высказываться, что отныне ни один мужчина не может "спать раздетым".

Потом по городу пошли слухи, что Герцеля освобождают. Это вызвало большую сенсацию. Утверждали, что Герцель будет первой ласточкой, прилетевшей "оттуда".

Слухи подкрепились тем, что Берия, расспрашивая по телефону тогдашнего директора театра имени Марджанишвили Шалва Гамбашидзе о предстоящих гастролях театра в Западную Грузию, неожиданно предложил ему

восстановить "Ицку Рижинашвили" и включить ее в гастрольную программу театра. Ошарашенный директор поспешил расклеить афиши по городу.

Всеобщее возбуждение достигло своего апогея в день спектакля — 2 июня. Народ — евреи и грузины — хлынул в театр. Там, неизвестно каким образом, распространился слух, что Герцель должен появиться во время спектакля.

Спектакль прошел блестяще, в зале, переполненном до отказа возбужденной и ожидающей публикой. Но Герцель в театре не появился. Тем не менее все упорно твердили, что Герцель скоро вернется.

Атмосфера надежды воцарилась и в нашем доме. Отец стал уговаривать меня вернуться через несколько дней в Ленинград и взять с собой сестру, у которой с 10 июня начинались школьные каникулы.

В тот же день я отправилась к Софе. Меня предупредили, что после ареста Герцеля с ней произошла странная метаморфоза. Она стала страшно агрессивной по отношению к нашей семье, и никто ее не мог вразумить.

Но то, что я увидела и услышала в доме Герцеля, потрясло меня. В квартире царил хаос. Маленький худой и бледный Натан лежал в помятой постели. Казалось, стены сузились и потемнели и все предметы плачут... Я прошла в спальню к Софе. Она разговаривала по телефону, увидев меня, бросила трубку. Я подошла и обняла ее. Она начала плакать; слезы душили и меня.

Успокоившись, она заговорила тихо:

— Я ждала твоего приезда. Я знаю, ты не остановишься ни перед чем для спасения Герцеля. Мне нужна твоя поддержка. Я уже отправила заявления Берия и Гоглидзе (НКВД), а теперь мне нужно, чтобы и ты подписала такое же заявление, — и дает мне пачку бумаг, написанных ее рукой, — копии ее заявлений.

Читаю заявления. В них она утверждает, что со времени женитьбы Герцель, поняв под ее влиянием, что отец, будучи отсталым, остался непримиримым врагом советской власти и что вся семья по существу осталась ан-

тисоветской, окончательно порвал и прекратил с ней всякое общение. Лишь недавно, в связи с замужеством сестры, формально помирился с семьей. Она, его жена, создала из него советского писателя, который отверг и ненавидел все отцовское национально-сионистское наследие. Софа просила освободить мужа, так как она в состоянии принести государству еще много пользы.

Я отказалась подписать подобное заявление.

Мгновенно она изменилась в лице. С невероятной яростью обрушила она на отца невыносимые клеветнические измышления, обвиняя его в чудовищных преступлениях.

— Мне наплевать, если расстреляют старика! — кричала она безумным голосом, — мне нужно спасти Герцеля, и для этого необходимо доказать, что он давно порвал и с сионистом-отцом, и со всей контрреволюционной семьей. Если Герцеля сошлют — ни один Баазов на свободе не останется.

На мой вопрос: кто сказал ей, за что арестовали Герцеля и что такое "жертвоприношение" может привести к его освобождению? — она смешалась. Потом истерически начала выпаливать, что все товарищи и друзья Герцеля, как грузины, так и евреи, — предатели и шпионы. Она никому больше на свете, даже своим родителям, не доверяет, и только подлинные друзья, которых она приобрела в этом горе, поддерживают и правильно ориентируют ее во всем.

Было невероятно. При Герцеле всегда с нами ласковая и очень почтительная с нашими родителями, сейчас она с такой холодной и беспощадной жестокостью готова была ввергнуть в смертельную опасность отца, который Герцелю был дороже жизни, и всю семью, исходя лишь из нелепого и бредового мнения, что этим она "заслужит" освобождение Герцеля!

Что это — плод расстроенной психики или она действует под чьим-то сильным влиянием? Невозможно было отделаться от мысли, что кто-то, воспользовавшись ее отчаянием, "изъявился" ей в качестве "ангела-хранителя".

Но кто "он" и с какой целью внушал ей столь подлые, опасные — в первую очередь для самого Герцеля — и одновременно глупые мысли?..

К несчастью, разговаривать с нею на языке логики и разума было невозможно...

Между тем в городе упорно циркулировали слухи о скором освобождении Герцеля. Были и такие, которые приходили поздравлять.

Не исключая возможности того, что в атмосфере ненависти и самостраховки Герцель мог стать случайной жертвой мелкой клеветы со стороны какого-то завистника из среды писателей, я все-таки считала необходимым найти способ написать об аресте Герцеля лично "вождю" (десятки тысяч заявлений на имя Сталина не уходили дальше столов низших чинов в органах) .

Я решила обратиться за помощью к Секретарю Груз-ЦИКа — моему бывшему учителю.

В школе, в старших классах, историю и обществоведение нам преподавал один из любимейших нами учителей — Васо Эгнаташвили. Очень начитанный и эрудированный, он умел рассказывать живо и увлекательно, выходя часто за рамки школьной программы. По-крестьянски простой, общительный, он относился к нам как старший товарищ. Любил и прекрасно декламировал грузинских поэтов. В те годы всеобщего обнищания интеллигенции, он был беднее всех наших учителей. В семье работал он один, и скромное жалованье школьного учителя едва могло прокормить хлебом семью из пяти душ. Зимой он ходил в полотняных брюках и туфлях.

Ко мне он относился с большой теплотой. Иногда по воскресным дням приглашал к себе домой и помогал в составлении литературного журнала, который я выпускала в школе.

Он жил недалеко от нас на Гановской улице в двух маленьких, бедно обставленных комнатах. Занятия наши продолжались не долго, его чересчур живые и резвые

мальчики переворачивали весь дом, мешая нам работать. Тем не менее, общение с ним всякий раз в чем-то обогащало меня, и я вспоминала о наших встречах с благодарностью.

Сразу же после появления Васо в школе поползли слухи — один другому передавал по секрету, что он незаконный брат Сталина. Говорили об этом и в городе. Почему-то эта контрастность положения "братьев" еще больше возвышала его в наших глазах, делала его гордым и романтичным.

Прошли годы. Я окончила университет. Васо Эгнаташвили я больше не встречала. В начале 30-х годов вдруг заговорили о нем. Вскоре он стал секретарем Груз-ЦИКа. У него был старший брат — Константин, о котором рассказывали, что он работает в Кремле — не то комендантом, не то в хозчасти.

Когда из комендатуры позвонили и назвали мою фамилию, Васо сразу же распорядился впустить меня. Я вошла в роскошный кабинет, где в кресле одного из руководителей республики теперь сидел когда-то бедный и добрый мой учитель. Каким он стал, изменилось ли его сердце? Внешне он изменился — раздобыл. Одет в великолепный костюм. Стал медлительнее и сдержаннее. Принял меня он очень приветливо. Расспросил о моей жизни. Потом вдруг спросил:

— Как с Герцелем? Слышал, что его освобождают?

Тогда я изложила ему причину моего прихода и просила связать меня с его братом Константином.

Васо задумался, потом взял бумагу и начал писать. Письмо вложил в конверт и отдельно на бумаге написал телефон Константина.

— Во всяком случае, — сказал он, — заявление ваше передать в руки, думаю, он сможет.

Встал и, как будто извиняясь, сказал:

— Вы понимаете хорошо, что я ничего сделать не могу.

Я понимала! Он хотел сделать хорошее, но не мог. Бедный. То, что он сделал, и это выходило тогда за нормы поведения ответственных лиц.

По настоянию отца 10 июня мы с сестрой уехали из Тбилиси. Провожая нас, отец и Хаим старались быть бодрыми, убеждали, что мы скоро получим телеграмму об освобождении Герцеля. Но, прощаясь и целуя меня, отец вдруг сказал:

— Что бы ни случилось — держись с достоинством!

Верил ли отец в душе в возможность скорого освобождения Герцеля или играл в эту веру для того, чтобы поскорее удалить меня из Тбилиси?

По дороге в Ленинград я остановилась в Москве, где мы с Меером намеревались встретиться с Константином Эгнатавили.

Я позвонила ему поздно ночью. Он оказался дома. Назначил свидание на утро, у музея Ленина.

Мы с Меером были на месте в назначенное время. Скоро подошел Константин. Я его сразу узнала по описанию Васо. Он был пожилой, но высокий и стройный. Прочел письмо брата внимательно и тут же порвал.

— Дайте ваш пакет. Васо очень просит. Я это сделаю непременно. Думаю, что завтра у меня будет случай. Вы не звоните, дайте ваш номер телефона — я позвоню завтра ночью... с улицы... Ждите моего звонка.

Потом посмотрел на нас, покачал головой и сказал:

— Дети, вы не знаете, какое время трудное.

Он ушел по направлению к мавзолею Ленина.

На второй день с вечера затаив дыхание мы с Меером сидели у телефона. Ночью в половине второго раздался звонок, и я услышала три условленных слова на грузинском языке. Они должны были означать, что пакет передан "в руки".

На второй день мы с сестрой уехали в Ленинград, и там началось наше томительное ожидание известий из Тбилиси.

Прошел июнь, настал июль, а из Тбилиси нет никаких вестей.

Наконец 10-го, в душный июльский день, пришла телеграмма от неизвестного лица, в которой сообщалось: "Папа, Хаим заболели"...

Впереди дороги... дороги и слезы!

х х х

Прошло всего два с половиной месяца, как я оставила родительский дом, гордая и счастливая сознанием, что я родилась и выросла в этом доме. Здесь царил свой особый мир, в котором еще с колыбели нас учили высоким идеалам любви и служения своему народу, научили страдать страданиями нашего народа и гордиться его несокрушимой волей и стремлениями к утверждению добра на земле. Необычайная душевная сила отца породила здесь такую крепкую любовь и душевную близость между членами семьи, что один бывал счастлив счастьем другого и каждый страдал от боли другого.

И вот стоило мне переступить порог родительского дома, как за мной погнался злой рок и здесь, на берегах Невы, нанес мне удар за ударом, угрожая разбить мой боготворимый дом, мой мир.

Жизнь выкинула меня за борт. Передо мной лишь узкая, темная тропинка, которая или быстро приведет меня туда же, где сейчас отец и братья, или заставит ходить по мукам неизвестно сколько времени и таскать на себе тяжелую ношу страданий, которая неизвестно где и когда раздавит меня.

В дом Эпельбаум вслед за мной вошли печаль и горе. Семью охватили страх и напряженность. Была ли я вправе взвалить на плечи моего мужа, несмотря на его горячую готовность к этому, такое тяжелое бремя, и мог ли он все это вынести, человек, по существу еще очень далекий от мира нашей семьи? Или, может быть, во имя укрепления и счастья только что созданного семейного очага я должна была отмежеваться от всего другого и святого в моей жизни? А может, честнее и правильнее -- сегодня же, сейчас же — перерезать все нити личного счастья и пойти одной навстречу буре?

Выбора не было. Жребий был брошен. Отныне жизнь моя уже не принадлежала мне. Сияние лучезарного счастья моей молодости погасло навсегда.

х х х

Телеграмма явно была сигналом, предупреждающим о грозящей мне опасности. Да и, по логике вещей, следовало, что если арестовали Хаима, то тем больше оснований было для моего ареста.

Еще с детства рядом с отцом и, в особенности с Герцелем, находилась на виду больше я, нежели Хаим. Я больше бросалась в глаза, с детства принимая более активное участие во всей общественной деятельности семьи, чем необычайно веселый и жизнерадостный Хаим. По своему духовному миру он был достойным сыном своего отца, любил и дорожил всем тем, чем жила наша семья, но, женившись совсем молодым, в 30-х годах, целиком был поглощен заботами о своей молодой семье.

Мой муж и его родные категорически требовали, чтобы я скрылась у родственников жены Меера под Москвой, которые знали об аресте Герцеля. Д.Петровский (единственный, кто в Ленинграде знал об арестах в нашей семье) также решительно настаивал на том, чтобы я, хотя бы на ближайшее время, до выяснения ситуации, укрылась подальше от Ленинграда. Муж решил взять отпуск на неделю и отвести Полину в Тбилиси к маме.

Ко всем доводам благоразумия близких я оставалась глуха и твердо решила съездить сама в Тбилиси, узнать, что происходит дома, в каком состоянии мама. Правда, ехать я решила не прямым поездом, а окольным путем, разными поездами — от города в город.

Муж достал билеты до Харькова, и я с сестрой в ту же ночь уехала из Ленинграда.

Предупрежденный мужем, рано утром в Москве на вокзале встретил нас Меер. Он стоял на перроне бледный и окаменевший, ушедший в свои горькие думы. Поезд стоял один час, и мы почти ни о чем не говорили. Перед

отходом поезда он попрощался со мною, как будто расставался навеки.

Поезда из Москвы в Тбилиси в то время шли не по короткому пути, как сейчас, через Сочи, а через Ростов, Баку и прибывали в Тбилиси только на четвертые сутки.

Отказавшись от поездки прямым поездом, мы прибыли в Тбилиси на девятые сутки.

Невозможно забыть это длинное путешествие, сопряженное с переживаниями не только тяжелого горя, безысходной тоски, но и ощущением постоянного страха и неожиданностей.

Прибыв на второй день утром в Харьков, мы простояли там в очереди до вечера и с трудом достали билеты в общий вагон на какой-то поезд до Ростова. Дачный сезон был в самом разгаре. Кажется, весь север двинулся на юг, и чем мы были ближе к нему, тем становилось все жарче и все труднее было попасть на какой-либо поезд. Составы шли переполненные экскурсантами, дачниками, и на промежуточных станциях люди сутками не могли достать билет.

Так мы ехали из города в город, простаивая в очередях по восемь-десять часов и попадая в общие вагоны, стиснутые между вдребезги пьяными, падая с ног от усталости.

Каждый раз, когда по перрону или вагону проходил работник в форме линейного отдела НКВД, у меня останавливалось сердце, и я вся превращалась в ожидание — вот он сейчас подойдет и снимет нас с сестрой с поезда.

Наконец на восьмой день утром добрались до Баку, где в течение дня должны были пойти на Тбилиси три поезда, следующие из разных городов. Я сразу кинулась в кассу, там уже с ночи стояли люди, образовавшие большую очередь. В 11 часов утра, перед приходом первого поезда, над кассой появилась табличка: "Мест нет".

Было безумно жарко, дул горячий, песчаный бакинский ветер. В зале ожидания можно было задохнуться. Я пристроила вконец измученную, едва стоявшую на ногах от горя и усталости больную сестру на чемоданах на от-

крытом перроне, а сама стояла в толкучке у кассы, изредка выбегая, чтобы взглянуть на сестру.

С самого утра я заметила на перроне одного типа в форме. Он разгуливал по почти безлюдному перрону (от жары и горячего ветра люди старались укрыться в зале ожидания). Раза два, как мне показалось, он пристально посмотрел на меня, когда я пыталась заставить сестру поесть.

Спустя некоторое время, когда я снова стояла в очереди, стиснутая между пропахшими рыбой и потом азербайджанцами, он вошел в зал, подошел близко к нашей очереди и снова начал смотреть на меня. Я повернулась к нему спиной, чувствуя, что вся холодею.

Через час, другой, задыхаясь от спертого воздуха в зале, выбегаю на перрон, прислоняюсь к столбу, чтобы хоть немного отойти от духоты. Из здания выходит "тип" и на этот раз направляется прямо ко мне. Колени у меня дрожат, и, чтобы не упасть, обхватываю сзади руками столб.

— Скажите, девочка, которая сидит там на чемоданах, ваша сестра? — спрашивает он.

— А вам какое дело до этого? — каким-то чужим голосом выпаливаю резко.

Он пожал плечами и отошел.

К трем часам подошел второй поезд, на который продали всего 20 билетов в общие вагоны. До меня еще человек 50. Остается всего лишь один поезд, следовавший с пограничной тогда станции Шепетовка. Он будет в Баку в пять вечера. Я решила больше не выходить из очереди.

В зале стоит невероятный шум и гам. Вдруг передо мной снова "тип". Он приближается совсем близко ко мне и тихо, почти повелительно говорит:

— Слушайте, девушка, выходите из очереди, я возьму вам билеты.

"Ага, думаю, знаю! Подлюга, не хочет привлечь внимание людей. Но зачем издевается, проявляет заботу? Игра? Надо держаться, чтобы он понял, что игра его мне понятна".

— Не нужна мне ваша забота! — почти кричу я.

Он быстро поворачивается и уходит.

До прихода поезда остается менее часа. У меня почти нет сомнений, что этот "тип" следит за мной и заберет. Что делать? Предупредить сестру об этом? Передать ей документы и деньги? Нет, я не в силах сделать это. Лучше подожду до конца, и тогда, быть может, мне не дадут возможность увидеть, что будет с ней.

В очереди за мной стояла группа армянских учеников из Тбилиси, которые возвращались после экскурсии домой. Сопровождал их старший пионервожатый по имени Рафик — типичный и очень приятный тбилисский парень. Он все время старался быть чем-нибудь полезным нам: доставал холодную воду для сестры, сторожил мою очередь, когда я выходила на перрон. Я отозвала его в сторону и сказала, что чувствую себя плохо и, возможно, останусь здесь у родственников.

— Поэтому я прошу тебя вместе с ребятами взять Полину и привести ее домой в Тбилиси к маме, — с этими словами я передала ему документы и деньги, оставив часть при себе, на всякий случай.

Рафик спрятал их за пазухой, заверил меня, что он лично приведет Полину к маме, и записал наш тбилисский адрес.

Буквально за 15 минут до поезда ко мне в очереди подошел дежурный по вокзалу, взял за руку и сказал, что меня просит к себе начальник вокзала.

"Все, конец!"

На ходу кричу Рафику:

— Рафик, Рафик, иду звонить родственникам, остаюсь.

— Хорошо, не волнуйся, — слышу сквозь гул.

В кабинете, за большим столом сидит грузный азербайджанец — начальник станции. В широком кресле сидит "тип" и курит. Я остановилась у дверей. Вдруг меня охватило странное безразличие, полная апатия.

— Сумасшедшая, — говорит "тип" начальнику станции. — На ней нет лица, еле стоит на ногах, упрямая.

Начальник станции посмотрел на меня, и, видимо, мой вид его убеждает, что перед ним действительно не вполне нормальная.

— Вам до Тбилиси? Вот вам два нижних места в международном вагоне, — говорит очень мягко начальник станции, деньги можете платить здесь.

Снова лихорадочно забились в голове мысли. Значит, "он" едет с нами, чтобы там, в Тбилиси, передать меня органам, а сестру, которая здесь, в чужом городе, перепуганная может впасть в истерику (такие сцены выглядят не гуманно, и они избегают их), отправит домой. Ясно.

Уплатив стоимость билетов и не поблагодарив никого, я бегу к Рафику сказать, в каком вагоне ему искать утром Полину. Потом иду к сестре, забираем чемоданы и направляемся в международный вагон. Он наполовину пуст, билеты на него в общей кассе не продавались. Забираем двухместное купе.

Высовываюсь почти наполовину через открытое, низкое окно вагона. "Тип" в форме разгуливает по перрону. Слежу за ним злыми глазами. До отхода поезда осталось минут 10-12. Вот он подходит к нашему вагону, стоит у входа, разговаривает с проводницей. Потом смотрит на меня. Мне кажется, что он, покачив головой, улыбается. "Палач, иезуит!" Вот уже слышен свист паровоза. Сейчас он вскочит на подножку вагона. Дрогнув состав, поезд медленно двинулся, наш вагон пошел мимо него. Он стоит. Наверное, вскочит на ходу в какой-либо другой вагон, за нами всего несколько вагонов, и мне хорошо видны они. Поезд идет медленно, с трудом... я не отвожу от него глаза, прошел второй, третий, пятый и вот уже последний хвостовой вагон проехал мимо. ОН ОСТАЛСЯ НА ПЛАТФОРМЕ.

Поезд набирает скорость. Не понимая, что происходит со мною, сестра тащит меня от окна. В голове у меня все перепуталось. "Как! У человека в этой форме могло появиться чувство жалости?" Но, не в состоянии ни в чем разобраться, я обессиленная падаю камнем на мягкую, белоснежную постель международного вагона...

Когда на рассвете мы с сестрой вошли в дом, старая бабушка, как обычно в это время, уже молилась. Мама, видимо не раздевшись с ночи, сидела у окна в каком-то забытии. Увидев нас, она на мгновение взглянула на меня своими слабыми, покрасневшими от бессонницы глазами и вдруг, схватившись за голову, начала угрожать мне, что выйдет и бросится под трамвай, если я сию же минуту не уеду из Тбилиси.

Я постаралась успокоить ее, заверив, что ночевать дома не буду, днем выходить в город не стану и через три-четыре дня уеду и буду скрываться под Москвой.

Страх и опасения бедной мамы имели, помимо общей, семейной ситуации, и весьма конкретные основания: по городу распространились слухи о моем аресте в Ленинграде.

Софа, занявшая со дня ареста Герцеля немислимо странную позицию по отношению к нашей семье, безжалостно убеждала ее, что я непременно буду арестована. Всего два дня тому назад вторично побывали у нее "гости" из органов, они забрали мои фотографии и случайно завалявшиеся два пустых конверта с моим обратным Ленинградским адресом.

От мамы я узнала, что отца забрали 8 июля в городе Гори, где в то время он был на незаметной, хозяйственной работе. Об этом маме сообщил 9-го рано утром один еврей, приехавший из Гори. В ту же ночь из дому взяли Хаима.

Помимо отца и Хаима в Тбилиси из людей, близких к нашей семье, арестовали доктора Рамендика. Это был крупный и очень популярный в городе врач, в прошлом активный сионист — близкий друг и соратник Штрейхера. Он был не только другом, но и лечащим врачом отца.

Были взяты директор 103-й русско-еврейской школы Пайкин — известный математик, доктор Гольдберг — также очень близкий к отцу человек, совсем молодой,

скромный и тихий работник нашего музея Г. Чачашвили, Рафаэль Элигулашвили — занимающий в момент ареста пост уполномоченного "Внешторга СССР" в Закавказье.

Никто не знал, конечно, кто, за что и в связи с чем взят. Между тем в еврейских кругах города Софа с усердием, достойным лучшего применения, распространяла слухи, что во всем виноват "старый провокатор", который сперва погубил собственных сыновей, теперь губит других. На людей одичалых, затравленных от страха, в обстановке всеобщего недоверия и почти полной потери критериев логики и разума, подобный яд действовал безотказно. Многочисленные друзья и знакомые, которыми всегда был переполнен наш дом, теперь отвернулись от него и избегали даже проходить по Иерусалимскому переулку, где мы жили.

Тбилисские родственники отца — брат, сестры и молодые племянники, — люди, в общем жалкие и в прошлом очень бедные, преследуемые безотчетным страхом, покинули маму в столь невыносимом тяжелом горе. Не ощущение реальной опасности, а какой-то звериный страх овладели ими.

Бедная мама! Мудрая и наивная, гордая и простая, чувствующая себя королевой в своем доме, где она была окружена любовью и уважением, и крепко защищенная от всех жизненных невзгод — отцом и Герцелем, — теперь она оказалась одна перед жестоким миром, где никто не вспомнит о ней, никто не протянет руку помощи и неизвестно, сколько боли и унижения придется ей вынести, тем более если и я не уцелею.

А чем они будут существовать? Ведь отец, как и дети, не имел никогда богатств. Мы существовали на трудовые заработки, которые хоть и давали возможность прилично жить, но никто из нас не мог на них приобрести какие-либо ценности или отложить на черный день. Да и такая мысль никогда не могла прийти кому-либо из нас — что нужно "иметь" больше денег, чем это необходимо сегодня на жизнь.

Месяц назад у Хаима родилась вторая дочь. Жена его, не имея никакой специальности, абсолютно не была приспособлена к жизни. Правда, утешало то, что у нее было много братьев и сестер. Некоторые из них состоятельные и очень скупые. Но среди них один — Рома, проживающий в Москве, крупный делец, наиболее добрый и заботливый к родным, очень любивший Хаима и уважающий нашу семью, не оставит сестру с двумя малютками.

А Софа? Слава Богу, ее не взяли, и Натан не остался без матери. Она была беременна, и, быть может, это спасло ее. Хотя подобные обстоятельства до января 1938 года не были препятствием для ареста жен, которых без всякого следствия отправляли в лагерь сроком на 10 лет. Не отобрали у нее также ни квартиры, ни обстановки, ни даже большой и очень ценной библиотеки Герцеля.

Как правило, в тот период у репрессированных отбирали квартиры, если, конечно, они были хорошие. Обычно их занимали сами следователи органов. Когда в 1937 году арестовали Абрама Линецкого, его роскошную квартиру на улице Крылова с дорогой обстановкой занял следователь Котэ Кадагишвили.

Заслуживший печальную славу, спецпрокурор Рубен Баханов — единственный грузинский еврей, удостоенный особого доверия органов, — разгромив очень почитаемую грузинскую интеллигентную семью Т. Грузинской, захватил ее чудесную квартиру вместе с находящимися там вещами и предметами. Тамара Грузинская, с которой я позже встретилась в прокуратуре СССР, рассказывая мне о "подвигах" Баханова, почему-то особенно возмущалась тем, что он съел все ее чудесные варенья, которые она приготовила для своей семьи.

Кому посмели бы жаловаться лишенные всех гражданских прав родственники репрессированных?! В этих

случаях все зависело от настроения и аппетита работников органов, которые тем больше ценились начальством, чем больше жестокости и бессердечия проявляли к "врагам народа". Теперь, как говорили, перестали брать жен без "личного дела". Да и по всему чувствовалось, что лично Софе не угрожает ничто. С работы ее не сняли — она работает врачом в железнодорожной клинике у профессора-невропатолога Петра Сараджишвили. Рядом с ней живут ее родители и сестра. Сама она очень энергичная и обладает необычно большой пробивной силой.

Самое безнадежное положена у мамы. Все трое: старая бабушка, ей уже 90 лет, мама с большими глазами и часто болеющая, слабая здоровьем сестра-подросток — нетрудоспособны. Я почти уверена, что из квартиры их не выселят, хотя она большая — три комнаты с большой галереей, но район не из шикарных, да к тому же рядом синагога — кто позарится? (Хотя впоследствии и отобрали одну комнату, но это было в "порядке уплотнения".)

Не думая долго, я решаю продать немедленно не только мои личные вещи — пианино, которое мне купил Герцель, когда я окончила школу, два-три ковра, серебряную посуду и другие предметы, — но и все остальное, что можно сразу же реализовать и без чего сейчас обойдутся мама и сестра. В случае моего ареста у них будет, на что жить первое время. А там видно будет.

Я пригласила соседей евреев, занимающихся, как многие, торговлей, и попросила помочь в распродаже вещей. Пианино и кое-что из обстановки они тотчас купили для себя. Еще бы, чтобы купить пианино, нужно было ждать годами! И кто бы им дал ордер на это? А тут меньше чем за полцены. Все остальное я также реализовала с их помощью в тот же день и таким образом обеспечила маму с сестрой и бабушку на ближайшее будущее.

Когда стемнело, ночевать я пошла в дом Хаима. С рассветом вернулась к маме и в течение дня старалась кое-как разобрать свалку книг, бумаг, фотографий и

других предметов, перемешанных со всякой утварью и разбитой посудой. Создавалось впечатление, что квартира подверглась не законному обыску, а, скорее, погрому.

По словам мамы, 9 июля утром, когда стало ей известно об аресте отца в Гори, она, с помощью верного нашего друга старика Я. Л. Зарецкого и двух бывших учеников Герцеля, постаралась вынести из дома часть материалов, документов, книг и фотографий из отцовского архива. В течение дня они выносили в чемоданах все, что успевали и по частям отдавали на хранение, на их взгляд, верным, набожным семьям. Увы, впоследствии оказался, что люди, взявшие на хранение этот бесценный материал, от страха сожгли его.

До отъезда я намеревалась тайком встретиться с двумя из моих ближайших друзей-грузин, в которых я была уверена, что, в случае моего ареста, они не испугаются и не оставят маму в одиночестве.

Решив задержаться еще на пару дней, ночевать я опять направилась около 11 вечера в семью Хаима.

Я вышла со Двора на улицу через открытые ворота, остановилась, чтобы оглянуться. Ночь была пасмурная, на улице почти темно. Наш дом был угловой, с одной стороны через ворота он выходил на улицу имени Тодрия, а с другой стороны, через подъезд, — на Иерусалимский переулок.

Мне вдруг показалось, или я, скорее, почувствовала, что справа, недалеко от наших ворот, под густым деревом стоит кто-то. Я инстинктивно повернула обратно, вошла во двор и затаив дыхание стала позади полуоткрытых ворот с правой стороны. Вглядываюсь через щель в темную улицу. Не знаю, сколько времени прошло, но мне кажется: стою долго. Старюсь привезти мысли в порядок. Что это? Может, началась галлюцинация? От страха, от всего пережитого, от усталости. Пытаюсь рассуждать: "Чего я испугалась? Ведь так они не прячутся. Они приходят ночью и звонят, стучат в дверь, смеются и иногда весело".

А может быть, кто-то действительно стоит под деревом и ждет кого-то на свидание и никакого дела до меня у него нет? Нет, нет... Человек на свидании так не стоит, почти растворившись в темноте. Мелькнула мысль: наверное, "сторожит" наш дом, поставлен следить за теми, кто к нам входит и кто выходит. Да, это в порядке вещей и в нормах нашего положения.

Тогда я решила войти обратно в дом и выйти через подъезд в переулок, подняться по левой стороне вверх, оттуда, обогнув Тумановскую улицу, выйти на Тонедскую площадь, где живет семья Хаима, а там решим, где мне ночевать.

Но что такое с ногами? Не мо у оторвать их от земли, как будто кто-то их пригвоздил. Да и глаза не могу оторвать от дерева...

Вдруг мне кажется — нет, не кажется, а так и есть, от дерева отделяется фигура, и в какое-то мгновение по улице проносится силуэт человека, проскочив мимо ворот (опять галлюцинация?), бросает в открытые ворота что-то белое, кажется, бумажку и удаляется вверх, по направлению к площади. Всмотриваюсь в темноту, человек скоро исчез из глаз, не разобрать молодой или старик, знакомый или нет.

Нагибаюсь и беру бумажку. Это вырванный из небольшого блокнота лист. В углу, у ворот, зажигаю спичку и при свете ясно разбираю написанные кем-то неизвестным несколько слов по-грузински: "З а в т р а ты не должна быть в городе".

Кто он? Кто озабочен моей судьбой и, рискуя многим, отважился бросить мне в минуту грозящей мне опасности спасательный круг? Этого я так и не узнала никогда. Времени для размышлений нет. Надо действовать. Куда пойти ночевать и как уехать до рассвета? Мысленно перебираю все возможности.

Наиболее подходящим вариантом мне кажется снова идти к жене Хаима, Сарре. Воспользовавшись темнотой, туда я могу пробраться через переулок незаметно. У Сар-

ры все время находится один из ее братьев, старый холостяк, очень живой, энергичный и шустрый, — Датико. Он, наверное, поможет мне выехать сегодня же ночью.

Не говоря никому о подброшенной мне записке, через несколько минут после моего прихода к Сарре, я попросила Датико привести маму и сестру. Когда они пришли, я им объявила, что решила уехать утром и, чтобы их не будить на рассвете, лучше поговорить нам обо всем сейчас. В начале третьего я попрощалась с ними, и Датико проводил их домой. Все прямые поезда на Россию из Тбилиси отбывали днем. Но я должна покинуть город еще до утра. У меня оставался только один выход — поехать на армянский поезд Ереван-Москва, который следовал через станцию Тбилиси, куда он прибывал в шесть часов утра. В три часа выходили из депо первые рабочие трамваи.

Мы с Датико воровски вышли из дому и направились к ближайшей остановке. Скоро подошел почти пустой трамвай, и мы поехали на вокзал.

На вокзале все залы ожидания до отказа переполнены пассажирами. Многие спят на ящиках или мешках, набитых фруктами и овощами.

Выбираю место, где особенно много крестьян с мешками, и усаживаюсь на своем маленьком чемодане. Датико пошел выяснять возможность получения билета. Касса была заперта. Дежурный по вокзалу сказал ему, что о получении плацкарты до Москвы, даже в жестком вагоне, и речи быть не может. Тогда Датико решил прибегнуть к своему испытанному методу — договориться непосредственно с кондуктором.

Поезд прибыл без опоздания. Мы выходим на перрон и направляемся к последним плацкартным вагонам.

У каждого вагона толпятся много людей, среди них много безбилетников.

Проходя по перрону, Датико выбирает одного кондуктора по наружности и делает ему какие-то знаки. Тот, пропустив пассажиров с билетами и отогнав дальше безбилетников, кивнул в нашу сторону.

Кондуктор — армянин, и Датико с ним разговаривает на армянском языке. Я не понимаю ни одного слова из их разговора. У меня не хватает терпения, и обращаюсь к нему по-русски — сколько он хочет. На ломаном русском языке он потребовал с меня за верхнюю полку в своем служебном купе сумму, вдвое превышающую стоимость проезда до Москвы в международном вагоне. По условиям тех дней, сумма была чудовищной. Он, видимо, профессиональным чутьем угадал, что меня гонит какая-то крайняя необходимость, и, конечно, не преминул воспользоваться этим. Я говорю "хорошо" и вхожу в вагон.

До отхода поезда Датико еще успел сбегать через длинный перрон в ресторан и принес мне пару бутылок "Боржома".

После отхода поезда кондуктор принес мне постель, но денег за это уже не взял. Я забралась на свою верхнюю койку и как затравленный зверь съезжилась в уголке.

Неожиданное мое появление в Москве вывело Меера из состояния апатии, в котором я оставила его перед отъездом в Тбилиси. Он так обрадовался мне, как будто в самом деле я вернулась "оттуда". По словам Доци, он не сомневался, что меня оставили "там". Он перестал разговаривать с окружающими, перестал есть и все дни напролет сидел угрюмый, обхватив голову руками. Состояние его было настолько тяжелым, что она вынуждена была вызвать участкового врача, который дал ему бюллетень на две недели. Теперь он ухватился за меня и не хотел ни на минуту расставаться. Целыми днями мы были вместе (пока поздно вечером я не уезжала ночевать к родственникам Доци на окраину Москвы), как будто я была последней нитью, соединяющей его с жизнью, символом всего дорогого и святого для него, что сейчас было заточено, обречено на мученичество и находилось под нечеловеческими пытками.

Мы вдвоем как будто затерялись в огромном мире, теперь далеко и чуждом нам. Мы одинаково сгибались под тяжестью одного и того же горя. Поэтому в те дни так трудно было нам расстаться, и мы старались поддерживать друг друга.

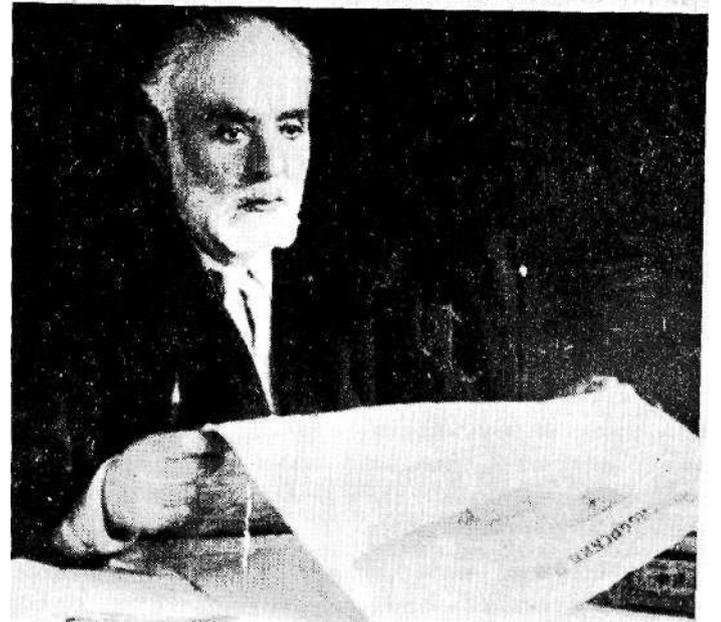
х х х

В течение августа муж два раза приезжал из Ленинграда и всячески старался нас утешить и подкрепить. В конце августа, решив, что опасность для меня уже миновала, он настоял на моем возвращении в Ленинград.

И там, обреченная логикой вещей на полную бездеятельность и оставшись наедине со своим горем, я оказалась целиком во власти отчаяния. В Тбилиси меня заставляла держаться жалость к маме и сестре, а в Москве к Мееру. А теперь, зарывшись в подушки, я рыдала часами. Началась бессонница. Ночами сидела я у открытого окна моей комнаты и глядела в уже потемневшие и сырые ленинградские ночи. Возбужденное воображение рисовало мне картины пыток, которым сейчас подвергаются папа, Герцель, Хаим: тушение горящих папирос на теле, подвешивание, избивание до перелома костей, голод, жажда, — обо всем этом тайком рассказывали в Тбилиси доверяющие друг другу люди. Хотелось вопить и кричать, чтобы заглушить эту нестерпимую душевную боль. Иногда мне кажется, что мне было бы легче, если бы взяли меня. Там, наверное, тупеешь, перестаешь думать о близких, оборваны все сердечные нити, ты свободен от всяких забот и обязанностей. Такое освобождающее блаженство, очевидно, выкупается собственной обреченностью. А тебе надо выносить страдания за их страдания, постоянно думать, что ты должна что-то делать — действовать, прошибать стены головой и добиваться их спасения, задыхаться от бессилия, — обречен-



Фаина Баазова



Раввин Давид Баазов



Герцель Баазов и Перец Маркиш

ная на бездействие из соображений собственной безопасности.

Я почти не выходила из своей комнаты. Ни с кем из друзей и близких мужа не встречалась. На все их вопросы: "Где пропадает твоя жена?" — следовал один и тот же ответ: "Она больна".

Настали дни "Йом-нораим". Ни я, ни братья не были религиозными, как и все наше поколение, выросшее в условиях советской действительности. В семье соблюдались все еврейские праздники по всем правилам Торы, но в основе нашего отношения ко всем еврейским обрядам лежала не религиозность, а любовь и уважение к родным, уважение к традициям еврейского народа, к его национальному духу, к его стремлению утвердить свою национальную самобытность.

В детстве отец часто брал меня на праздники в синагогу, и в памяти моей навсегда запечатлелись и образ молящегося отца, и вся молитвенная обстановка синагог.

Став взрослой, я также бывала в синагоге, но не для того, чтобы молиться, а чтобы послушать выступления отца, или послушать в день Йом-Кипур Кол-нидре какого-нибудь известного кантора в ашкеназийской синагоге (такие часто приезжали в Тбилиси из разных городов России), или в Рош-Ашана отвести маму домой, которая в эти праздники молилась в ашкеназийской синагоге, а не в сефардской, где бывал отец.

Перед заходом солнца, в канун Йом-Кипур, я зажгла в своей комнате высокие свечи, оделась, вышла на улицу, взяла такси, поехала в синагогу. Но на этот раз меня повело туда не желание послушать хорошего кантора, а непреодолимая потребность окунуться и раствориться в синагогальной атмосфере.

Когда я пришла в синагогу, там уже шла молитва. Я вошла в мужской зал и стала в углу. Места были заня-

ты примерно на две трети. Почти все молящиеся — или старики, или очень пожилые. Молодых не было совсем.

Я стояла и слушала кантора, которого в моем воображении постепенно стал вытеснять образ отца. Мне казалось, что он своим неповторимо волшебным голосом обращает мольбы к Всевышнему. Чувствую, как слезы ручьем текут по моему лицу, и я молюсь, молюсь за него, за всех... И мне кажется, что на душе становится легче.

Некоторые из молящихся с удивлением поглядывают на меня, но никто не посмел спросить, кто я и отчего так горько плачу...

Удивились и в семье моего мужа. Те, кто тогда жил в Ленинграде, легко поймут, что мое поведение могло показаться диким подавляющему большинству людей.

x x x

Прошел октябрь, потом ноябрь. За это время всего два раза мы получили короткие сообщения из Тбилиси о том, что там без перемен.

В начале декабря мне сообщили, что на все жалобы по поводу судьбы Герцеля мама наконец получила официальный ответ: "Ваш сын осужден на десять лет и сослан без права переписки". Вышло: Герцель осужден отдельно от отца и Хаима, дело которых находится в стадии "следствия".

Это известие сразу вывело меня из состояния апатии, я решила выехать в Москву и добиваться отмены решения органов, хотя бы ценой жизни. Мне казалось невыносимым, что, жертвуя абсолютно всем, я окажусь не в состоянии установить невиновность Герцеля. Я была уверена, что произошла страшная ошибка и бороться

за ее исправление стало единственным смыслом моей жизни.

Знала, конечно, я, сколько друзей, сколько близких и далеких замечательных людей унесла с собою буря, бушующая в Грузии вот уже два года. Тем не менее я не могла мириться с мыслью, что невозможно будет спасти Герцеля, если бросить на весы собственную жизнь. Тогда она казалась мне огромной ценностью, могущей выкупить невиновность Герцеля. Я еще не понимала, что исходить следует не от разума, а от безумия, не от логики, а от абсурдности. Мир не казался полностью опрокинутым. К этому приходишь постепенно, не сразу.

Я бросила вызов судьбе — или погибнуть, или спасти Герцеля. О, глупая, наивная молодость, о, жалкая, ничтожная человеческая жизнь!

В Москве я оказалась среди людей, которые находились по эту сторону проволочного ограждения, и, вооруженная лишь безысходным горем и слезами, пыталась достучаться в Ворота Справедливости. Боже! Сколько народу, какие длинные очереди в приемную прокуратуры СССР, Военную прокуратуру, Верховный суд СССР, в Управление ГУЛАГа!

По огромному двору приемной прокуратуры СССР, на Пушкинской улице, 15-а, людская очередь, растянувшись в несколько кругов, выходит из ворот и продолжается вдоль всей Пушкинской улицы, беря начало внизу, у самой площади. А сколько таких, которые где-то прячутся до приближения их очереди, и поэтому все время кажется, что очередь как бы застыла на месте и не движется.

Откуда только ни приехали люди, из каких только

уголков "Необъятной Родины своей"! С Украины, из Средней Азии, Закавказья, с юга и дальнего севера. И это людское море только ничтожная часть огромной армии, чесеэровцев.* Ведь многие не в состоянии приехать, а многие боятся рисковать. Сколько их было — таких жен, детей, братьев и сестер, отрекшихся из страха, что исключат из партии, снимут с работы, выгонят из школы или ВУЗов! (Лично я по Грузии и Москве знала очень многих.)

Простаивая в этих очередях неделями, месяцами среди людей, которые считались подонками общества (это было самое приличное обращение к нам со стороны тех, кто следил за нашими очередями, регулировал их или по какой-то прихоти вдруг совсем разгонял), и наблюдая за этими измученными, затравленными людьми, разговаривающими на разных языках, но страдающих одинаковым горем, я часто думала, что, наверное, только одно количество слез, пролитых матерями "врагов народа", могло образовать поток, могущий целиком затопить Москву.

Но эти слезы мельчайшими ручьями тихо лились на огромных пространствах СССР, не причиняя никакого огорчения сердцу "нашего мудрого Отца", и только ослепляли глаза миллионам матерей.

Продолжение в следующем номере

*Члены семьи изменника Родины.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ИЛЬЯ СУСЛОВ. См. журнал № 1

НИНА ВОРОНЕЛЬ. Поэт и драматург. Родилась в городе Харькове. Окончила физико-математический факультет Харьковского университета, а затем переводческое отделение Литературного института имени Горького в Москве. Публиковала поэтические переводы поэтов Запада и Востока, кроме того, ей принадлежит несколько книг детских стихов. Репатрировалась в Израиль в 1974 году. В 1975 году в Нью-Йорке были поставлены две пьесы Нины Воронель.

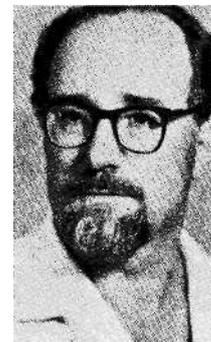


Д-р ЗЕЕВ КАЦ. Социолог. Родился в 1924 году в городе Ярослав (Польша). С 1939 по 1946 год жил в СССР. Окончил Семипалатинский педагогический институт при Казанском Государственном университете. В 1946 году выехал в Польшу, а в 1948 году репатрировался в Израиль. Окончил Иерусалимский университет, а затем защитил докторат в Лондонском университете. Преподавал в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте. Участвовал в разработке проектов по футурологии и постиндустриальному обществу. Автор и редактор ряда книг по национальному вопросу и проблемам социологии СССР. Преполагает социологию Советского Общества на русском отделении Иерусалимского университета.



МАРК ПЕР АХ. Физикотрофессор Иерусалимского университета. Родился в 1924 году в городе Киеве. В 1946 году окончил Одесский технологический институт. Работал во многих научно-исследовательских институтах, был профессором Калининского университета. В 1958 году был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. Освобожден в 1960 году.

Репатрировался в Израиль в 1973 году. Опубликовал свыше 180 работ в области физики и элетрохимии. Публикует статьи по общественным проблемам.



ФАИНА БААЗОВА. Юрист и историк. Родилась в городе Они в Грузии, в семье выдающегося деятеля сионистского движения раввина Давида Баазова. Окончила юридический факультет Государственного университета. По окончании Университета работала в государственном этнографическом музее евреев Грузии и одновременно— в коллегии адвокатов. В 1938 году переезжает в Ленинград, продолжает работать в коллегии адвокатов и в то же время становится сотрудником Ленинградского этнографического музея Академии наук СССР. В годы войны возвращается в Тбилиси. В Израиль репатрировалась в 1973 году.



DIGEST OF FOURTH ISSUE OF "VREMIA I MI" ("TIME AND WE")

ILYA SUSLOV. LAST YEAR'S SNOW (Continuation; cf. Vreinjajjni, No. 3)

NINAVORONEL. POEMS.

Nina Voronel's poems are philosophic lyrics full of bitter feeling of being at variance with the society. The poetess casts a sad glance at the world in which she has been living.

SAMIZDAT. POEMS.

These poems came to us through Samizdat (literally: "self-publication") from the Soviet Union. They are devoted to actual problems of modern Russia.

DAVID AVIDAN AND DALIA RAWIKOWICZ. POEMS.

These are the first Russian publications of Avidan's "Prayer from Heart to Heart" and Rawikowicz's "Pride". The authors are contemporary Israeli poets who write in modern tradition. The poems are translated by Savely Greenberg.

ZEYEV KATZ. MAN'S TOMORROW.

Dr. Katz is an expert in social futurology and a professor of the Hebrew University of Jerusalem. In this interview he discusses the development of a post-industrial society and the future of Jews in the world and in Israel.

A LETTER FROM MOSKOW.

This Samizdat letter describes moods and views of Russian intelligentsia, as well as some aspects of cultural and literary life in Moscow.

MARTIN BOOBER. NATIONAL GODS AND THE GOD OF ISRAEL

Martin Boober, a famous thinker, discusses the problem of Jewish national spirit and gives a comparative analysis of Judaism as juxtaposed with Christianity and other national religions.

MARK PERAKH. FACTS — OR SELECTION OF CHARACTERS?

Professor Perakh of the Hebrew University of Jerusalem discusses A. Solzhenitsyn's treatment of Jews and Jewish problem in Russia.
A NATIONAL COMPLEX — OR WIDE SCOPE?

The Editors' view on the polemics around this problem.

BOOKS AND MAGAZINES.

A brief critical survey of an issue of the Novy Zhurnal (1975, No. 119) and an issue of the Grany (1975, No. 97).

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

"LA PENSEE RUSSE"

"Русская Мысль" — самая большая еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже, каждый четверг, на 16 страницах среднего формата и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи о вопросах религии и философии, о науке, литературе и искусстве, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

"Русская Мысль" — не только звено, объединяющее старую и новую эмиграцию, не только голос, доходящий до России, и голос России на Западе, но и окно, открытое на Запад...

Все, кто интересуется русским вопросом, читают

"РУССКУЮ МЫСЛЬ"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР - ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Адрес редакции и конторы:

"LA PENSEE RUSSE"

217, Rue du Faubourg St. Honore, 75008 Paris, France.

Tel. 227-05-79 766-21-83 924-94-47

Оплата подписки по ССР 5883-44 — Paris или чеком.

Подписная плата для ИЗРАИЛЯ
Простой почтой

| | |
|--------|-------------|
| 2 мес. | 130 франков |
| 6 мес. | 70 франков |
| 3 мес. | 39 франков |

Воздушной почтой

| | |
|---------|-------------|
| 12 мес. | 170 франков |
| 6 мес. | 88 франков |
| 3 мес. | 49 франков |

Цена отдельного номера IL. 2.75

Художник Лев Ларский,
Корректор Нина Островская,
Технический редактор Наталия Ларская.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Ибн-Гвириоль, 23/6
п. я. 24123, Тель-Авив.

Тел. 295852.

Типография издательства "Панорама", п. я. 31087, Тель-Авив.
ул.Рош-Пина, 22.

MONTHLY "TIMt AND Wli ".
Ibn-Gvirol S(., 23/6, Tel-Aviv. Israel.

Te1 03-295852
P OB. 241 23 Tel-Aviv

*На четвертой странице обложки гравюра
художника Льва Подольского*

Подписывайтесь на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем "Время и мы". В ближайших номерах — повести Виктора Некрасова "Персональное дело коммуниста Юфы" и Бориса Хазанова "Час короля", рассказ Бориса Хазанова "Глухой неведомой тайгой", отрывки из книги Фаины Баазовой "Прокаженные" (продолжение), новые переводы израильских и зарубежных поэтов, критические заметки Наталии Рубинштейн, статьи профессора Льва Тумермана "Израиль: Европа или Азия?", доктора Вадима Меникера "Эффективность израильской науки" и другие.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

В ИЗРАИЛЕ

на 3 месяца — 49 лир 50 аг.

6 месяцев - 99 лир.

9 месяцев — 148 лир 50 аг.

12 месяцев - 198 лир.

Цена номера в открытой продаже - 22 лиры 50 аг.

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев - 19.60 S>

на 12 месяцев 39.20\$

Цена номера в открытой продаже - 4.5 \$

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — 78 F.FR.

на 12 месяцев - 156 F.FR.

Цена номера в открытой продаже - 19 F.FR.

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев - 46 DM

на 12 месяцев - 92 DM

Цена номера в открытой продаже - 10 DM

